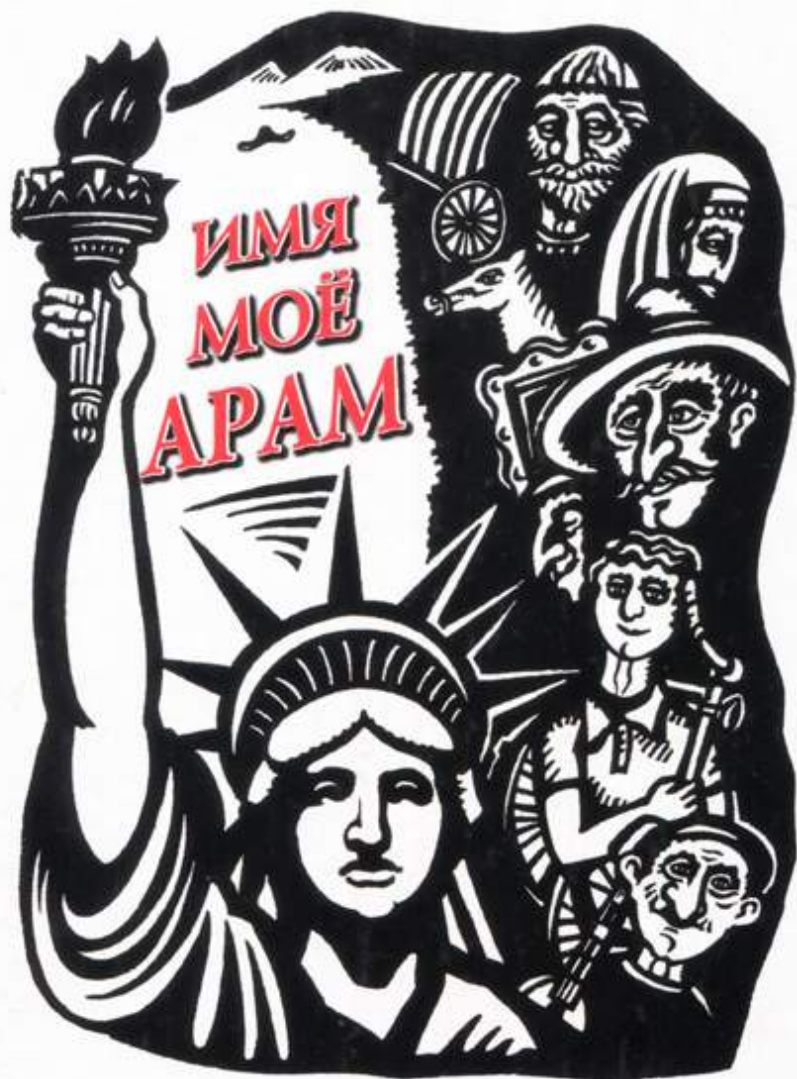


УИЛЪЯМ САРОЯН

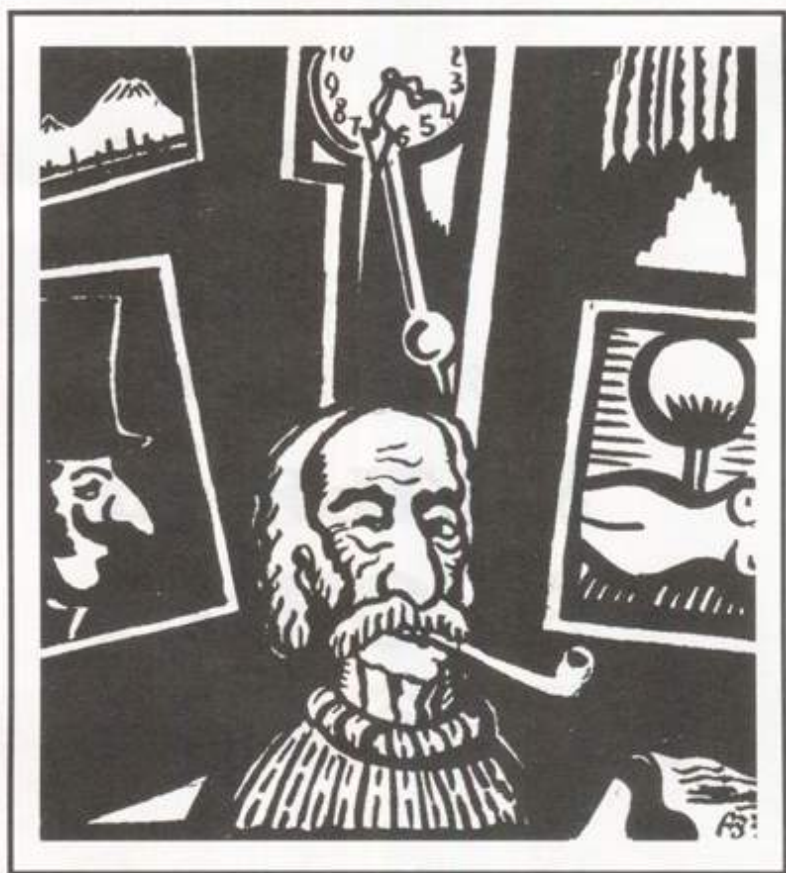






100
-летнюю
со дня рождения
Уильяма
САРОЯНА





Уильям САРОЯН



Имя
моё
АРАМ



рассказы

перевод
с английского

Издательство
«Кавказская здравница»
2005



ББК 84 (7Сое)

С20

Книга издана при финансовой поддержке
Армянской национально-культурной
автономии «Крунк»
города Кисловодска;
ТПО «Инициатива»;
Телерадиокомпании «СИФ»

и близких друзей художника

Натали ФАЙСКАНОВОЙ,
Владимира ГЕВОРКОВА,
Эрика ГЮЛУШАНЯНА,
Норика КАРИБЯНА,
Сергея ШАХНАЗАРОВА



*Посвящаю эту работу
светлой памяти моего отца Арама.*

*Редактор и художник
Юрий БАГДАСАРОВ*

Сароян Уильям.

«Имя моё Арам»: Рассказы / перевод с английского

William Saroyan

«MY NAME IS ARAM», 1940.

© 2005. Юрий БАГДАСАРОВ

Иллюстрации, макет, художественное решение.

© 2005. Издательство «Кавказская здравница»

ISBN 5-87777-034-9



4 607023 490366



ЛЕТО БЕЛОГО КОНЯ

В добрые старые дни, давным-давно, когда мне было девять лет от роду и мир был полон множества великолепных вещей, а жизнь еще была чудесным, упоительным сном, мой кузен Мурад, которого считали сумасшедшим все, кроме меня, явился к нам во двор в четыре часа утра и разбудил меня, постучав в окно моей комнаты.

— Арам, — сказал он.

Я соскочил с кровати и выглянул в окно.

Я не мог поверить своим глазам.

Утро еще не наступило, но было лето, солнце вот-вот должно было выглянуть из-за края земли, и было достаточно светло, чтобы я понял, что не сплю.

Мой кузен Мурад сидел верхом на прекрасном белом коне. Я высунул голову в окно и протер глаза.

— Да, — сказал он по-армянски, — это лошадь. Ты не спишь. Поспеш, если хочешь прокатиться верхом.

Я знал, что мой кузен Мурад умеет наслаждаться жизнью больше, чем кто-либо другой, кто появился когда-нибудь на свет по ошибке, но такому не мог поверить даже я.

Во-первых, самые ранние мои воспоминания были связаны с лошадьми, и моим постоянным страстным желанием было желание ездить верхом.

С этой стороны все было замечательно.

Но, во-вторых, мы были бедны.

И эта другая сторона дела не позволяла мне верить тому, что я видел.

Мы были бедны. У нас не было денег. Бедствовало все наше племя. Все ветви семейства Гарогланиянов жили в самой нелепой и удивительной бедности. Откуда брались деньги, чтобы наполнить пищей наши желудки, — этого не знал никто, даже старейшины нашего рода. Однако, что важнее всего, мы славились нашей честностью. Мы славились своей честностью в продолжение чуть ли не одиннадцати столетий, даже когда были богатейшим родом в нашем краю, который нам угодно было считать всей вселенной. Мы были прежде всего горды, затем честны и, сверх того, верили в справедливость. Ни один из нас не мог бы никого обмануть, а тем более обокрасть.

Поэтому, хотя я и видел коня, такого великолепного, хотя и ощущал его запах, такой восхитительный, хотя и слышал его дыхание, такое волнующее, — все же я не мог поверить, во сне или наяву, чтобы конь этот имел какое-либо отношение к моему кузену Мураду, или ко мне, или к кому-нибудь другому из нашей семьи, ибо я знал, что Мурад не мог купить коня, а раз он не мог его купить, то, значит, украл, а этому я верить отказывался.

Вором не мог быть никто из Гарогланиянов.

Я вытаращил глаза сначала на Мурада, потом на коня. Было в них обоих какое-то безгрешное спокойствие и лукавство; это меня и привлекало, и отпугивало.

— Мурад, — сказал я, — где ты украл этого коня?

— Прыгай в окно, — сказал он, — если хочешь показаться верхом.

Так оно и было: коня он украл. Тут и толковать было не о чем. Он заехал за мной, чтобы покататься верхом, а там я был волен выбирать, как хочу.

И вот мне показалось, что увести чужого коня, чтобы разок прокатиться верхом, — это не то же самое, что ук-

расть что-нибудь такое вроде денег. Как знать, может быть, это вообще не было кражей. Если бы вы сходили с ума по лошадям так, как мы с Мурадом, для вас это не было бы кражей. Это стало бы кражей, если бы мы попытались продать коня, чего мы, конечно, никогда бы не сделали.



— Погоди, сейчас я оденусь, — сказал я.

— Ладно, — сказал он, — только живо.

Я наспех напялил на себя одежду.

Потом я выскочил из окна во двор и вскарабкался на коня позади кузена Мурада.

В то время мы жили на краю города, на Ореховой улице. Сразу за нашим домом начинались виноградники, фруктовые сады, оросительные каналы и проселочные дороги. Через какие-нибудь три минуты мы были уже на улице Олив, и конь наш пустился рысью. Воздух был свежий, дышалось легко. Чувствовать под собой скачущего коня — как замечательно это было! Кузен Мурад, который считался одним из самых сумасшедших в нашей семье, запел. Сказать точнее, завопил во все горло.

ПАШКОВСКИЙ
АРМЯНСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР



БИБЛИОТЕКА

В каждой семье нет-нет да и проглянет черта сумасшествия, и мой кузен Мурад считался наследственным представителем сумасшедшей прослойки в нашем роду. В этом он уступал только нашему дяде Хосрову, огромному мужчине с могучей головой, черной шапкой волос и самыми большими усами в долине Сан-Хоакин; это был человек такого буйного нрава, такой нетерпеливый, такой раздражительный, что прерывал рычание любого собеседника:

— Вздор, не беда! Не обращайтесь внимания!

И это было все, о чем бы ни шла речь. Однажды его родной сын Арак пробежал восемь кварталов до парикмахерской, где он холил свои усищи, чтобы сообщить ему, что в доме пожар. В ответ дядя Хосров приподнялся в кресле и прорычал:

— Вздор, не беда! Не обращайтесь внимания!

Парикмахер сказал:

— Но ведь мальчик говорит, в вашем доме пожар!

А Хосров прорычал на это:

— Хватит! Не беда, я сказал!

Кузена Мурада считали прямым потомком этого человека, хотя отцом Мурада был Зораб, вполне как раз практичный, земной — и только. Такое встречалось в нашем роду. Человек мог быть родным отцом по духу. Распределение разных характеров в нашем роду было с самого начала прихотливым, затейливым.

Так вот, мы ехали верхом, и кузен Мурад пел. Как будто мы очутились на нашей старой родине, откуда, по словам соседей, происходила наша семья. Мы пустили коня бежать сколько хочет.

Наконец Мурад сказал:

— Слезай. Я хочу покататься один.

— А мне ты дашь поездить одному? — сказал я.

— Это как лошадь захочет, — сказал Мурад. — Слезай.

— Лошадь-то мне позволит, — сказал я.

— Посмотрим, — сказал он. — Не забывай, что я-то умею обращаться с лошадьми.

— Ладно, — сказал я. — Как ты умеешь обращаться, так я тоже умею.

— Будем надеяться, — сказал он. — Ради твоей безопасности. А пока слезай.

— Хорошо, — сказал я. — Но не забудь: ты обещал, что дашь мне покататься одному.

Я соскочил на землю, а Мурад ударил коня пятками и закричал:

— Вперед, пошел!

Конь стал на дыбы, захрапел и бешено пустился вскачь; я никогда не видел ничего чудеснее. Кузен Мурад погнал коня через поле с выгоревшей травой к оросительной канаве, переправился через канаву верхом и минут через пять вернулся весь мокрый.

Всходило солнце.

— Теперь моя очередь, — сказал я.

Кузен Мурад соскочил на землю.

— Садись, — сказал он.

Я вскочил на спину коню, и жуткий, невообразимый страх пробрал меня на минуту. Конь не двигался с места.

— Поддай ему пятками, — сказал Мурад. — Чего ты ждешь? Мы должны вернуть его на место, пока народ не повысыпал из домов.

Я ударил коня пятками в бока. Он опять, как и у Мурада, стал на дыбы и всхрапнул. Потом пустился вскачь. Я не знал, что мне делать. Вместо того чтобы скакать по полю к оросительной канаве, конь устремился через дорогу к винограднику Тиграна Халабяна и запрыгал через кусты винограда. Он успел перепрыгнуть с полдюжины кустов, когда я упал. Потом он поскакал куда-то дальше.

Прибежал кузен Мурад.

— За тебя я не боюсь, — кричал он. — Лошадь нужно поймать, вот что. Ты беги в эту сторону, а я в ту. Если она попадется тебе, будь с ней поласковее. Я буду поблизости.

Я побежал по дороге, а кузен Мурад через поле к оросительной канаве.

Ему понадобилось с полчаса, чтобы найти коня и привести его обратно.

— Скорей, — сказал он, — садись. Весь свет уже на ногах.

— Что же нам теперь делать? — говорю я.

— Ну, — сказал он, — одно из двух: или нужно отвести его на место, или спрятать где-нибудь до завтрашнего утра.

Сказано это было без особого беспокойства, и я понял, что лошадь он спрячет, а не отведет на место. Во всяком случае, не сейчас.

— А где мы ее спрячем?

— Я знаю одно место.

— Давно ты украл эту лошадь?

Меня вдруг осенило, что он уже давно разъезжает верхом по утрам и сегодня заехал за мной только потому, что знал, до чего мне хочется покататься.

— Кто говорит, что я украл?

— Ну, а все-таки, когда ты начал ездить верхом по утрам?

— Сегодня в первый раз.

— Это правда?

— Конечно, нет, — сказал он. — Но если мы попадемся, ты должен так говорить. Я вовсе не хочу, чтобы мы с тобой оба оказались лгунами. Тебе известно только то, что мы начали ездить сегодня утром.

— Ладно, — сказал я.

Мы потихоньку отвели коня в сарай на одном заброшенном винограднике, который когда-то был гордостью фермера по фамилии Фетваджян. В сарае было немного овса и люцерны.

Оттуда мы пешком отправились домой.

— Нелегко было, — сказал мой кузен, — так сразу приручить эту лошадь. Сперва она все хотела побегать на свободе, но, как я тебе уже говорил, я знаю секрет, как с ними обращаться. Я могу сделать так, что она захочет делать все, что мне надо. Лошади меня понимают.

— Как это у тебя получается?

— А у меня с ними общий язык.

— Хорошо, а он какой, этот язык? — Простой и честный, — сказал он.

— Так вот, — говорю я, — я тоже хочу знать, как найти общий язык с лошадьми.

— Ты еще маленький, — сказал он. — Когда тебе будет тринадцать, ты узнаешь, как это делается.

Я пришел домой и с аппетитом позавтракал.

Днем мой дядя Хосров зашел к нам выпить кофе и выкурить сигарету. Он сидел в гостиной, потягивая кофе, покуривая сигарету, и вспоминал нашу старую родину. Потом пришел новый гость, фермер по имени Джон Байро, ассириец, который от тоски одиночества выучился говорить по-армянски. Моя мать поднесла одинокому гостю кофе и табак, он свернул сигарету, закурил, попил кофе и наконец, печально вздыхая, сказал:

— Моя белая лошадь, которую угнали прошлый месяц, до сих пор пропадает. Это просто невероятно.

Дядя Хосров ужасно рассердился и закричал:

— Вздор, не беда! Не обращайтесь внимания! Что значит потерять какую-то лошадь? Ведь мы все потеряли родину! Что вы тут плачетесь по поводу лошади!

— Хорошо вам говорить, городскому жителю, — сказал Джон Байро, — а как быть мне с моим шарабаном? Что толку от шарабана без лошади?

— Не обращайтесь внимания! — орал дядя Хосров.

— Я прошел пешком десять миль, чтобы добраться сюда, — сказал Джон Байро.

— На то у вас ноги! — кричал дядя Хосров.

— Левая нога у меня больная.

— Не обращайтесь внимания!

— Лошадь стоила мне шестьдесят долларов, — сказал фермер.

— Плевать мне на деньги, — сказал дядя Хосров. Он встал и гордо вышел, хлопнув дверью. Мама стала объяснять.

— У него такое нежное сердце, — сказала она. — Это просто оттого, что у него тоска по родине, а сам он такой большой мужчина.

Фермер ушел, а я побежал со всех ног к моему кузену Мураду.

Он сидел под персиковым деревом, пробуя выправить поврежденное крыло у молодой малиновки, которая не могла летать. Он о чем-то разговаривал с птицей.

— Что случилось? — спросил он.

— Фермер, Джон Байро, — сказал я. — Он пришел к нам в гости. Ему нужна его лошадь. Ты держишь ее целый месяц. Ты должен мне обещать, что не отдашь ее обратно, пока я не выучусь ездить верхом.

— Тебе понадобится целый год, чтобы выучиться.

— А почему бы нам не продержат ее год?

Мурад вскочил на ноги.

— Что? — зарычал он. — Ты хочешь, чтобы один из семейства Гарогланиянов стал вором? Лошадь нужно вернуть ее законному владельцу.

— А когда?

— Самое большее через полгода, — сказал Мурад. Он подбросил птицу в воздух. Птичка старалась изо всех сил, раза два чуть было не упала, но вот наконец выровнялась и полетела стрелой.

Каждый день рано поутру в течение двух недель мы с Мурадом выводили коня из сарая на заброшенном винограднике, где мы его прятали, и ездили верхом; и каждый раз, когда наступал мой черед, конь скакал через виноградные кусты и низкорослые деревья, сбрасывал меня и убегал. Все-таки я надеялся со временем выучиться ездить верхом так, как ездил мой кузен.

Однажды утром по пути к заброшенному винограднику мы наткнулись на фермера Джона Байро, который направлялся в город по делам.

— Дай-ка я с ним поговорю, — сказал Мурад. — Я знаю секрет, как обращаться с фермерами.

— Доброе утро, Джон Байро, — сказал кузен Мурад фермеру.

Фермер жадно разглядывал коня.

— Доброе утро, сыночки моих друзей, — сказал он. — Как зовут вашу лошадку?

— «Сердце мое», — сказал кузен Мурад по-армянски.

— Чудесное имя, — сказал Джон Байро, — и лошадка такая, ну просто прелесть. Я бы поклялся, что эту лошадь увели у меня несколько недель назад. Вы мне позволите взглянуть на ее зубы?

— Сделайте одолжение, — сказал Мурад.

Фермер заглянул лошади в зубы.

— Точка в точку, — сказал он. — Я бы поклялся, что эта лошадь моя, не знай я ваших родителей. Ваше семейство славится честностью, я это отлично знаю. И все же эта лошадь точь-в-точь как моя. Человек подозрительный скорей бы поверил глазам, чем сердцу. До свидания, мои юные друзья.

— До свидания, Джон Байро, — сказал Мурад.

На следующий день рано утром мы отвели коня на виноградник Джона Байро и поставили его в конюшню. Собаки следовали за нами, не издавая ни звука.

— Собаки, — шепнул я кузену. — Я думал, что они будут лаять.

— Только не на меня, — сказал он. — Я знаю секрет, как обращаться с собаками.

Мурад обнял коня обеими руками, прижался носом к его храпу, потрепал по шее, и мы ушли.

В тот же день Джон Байро приехал к нам в своем шарабане и показал моей матери лошадь, которую у него увели и вернули.

— Не знаю, что и думать, — сказал он. — Лошадь стала еще сильнее. И нравом добрее. Благодарение богу!

Тут дядя Хосров, который был в гостиной, рассердился и закричал:

— Потише, мой друг, потише! Лошадь ваша вернулась — и все. Не обращайтесь внимания!





ПОЕЗДКА В ХАНФОРД

Пришлось-таки однажды моему непутевому дядюшке Джорги сесть на велосипед и прокатиться за двадцать семь миль в Ханфорд, где, как говорили, его ждет работа. С ним поехал и я, хотя сначала думали послать моего кузена Васка.

Мои родные не любили жаловаться, что есть у нас в семье такой чудак, как Джорги, но вместе с тем искали случая забыть о нем хоть на время. Вот было бы славно, если бы Джорги уехал и получил работу в Ханфорде на арбузных полях. И денег бы заработал, и глаз бы никому не мозолил. Очень было важно убрать его подальше.

— Да провались он вместе со своей цитрой, — оказал мой дедушка. — Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто человек, который целыми днями сидит под деревом, играет на цитре и поет, хороший и чего-то стоящий человек, так и знайте, писал это обманщик. Деньги — вот что нам важно. Пусть-ка съездит да попотеет там под солнцем как следует. Со своей цитрой вместе.

— Это ты только сейчас так говоришь, — сказала бабушка, — но погоди недельку. Погоди, пока тебе опять захочется музыки.

— Ерунда, — сказал дедушка. — Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто тот, кто только и делает, что распевает, и есть настоящий счастливец, значит, автор — пустой фантазер и вообще человек никудышный. Пускай Джорги отправляется. До Ханфорда двадцать семь миль. Расстояние вполне разумное.

— Это ты так сейчас говоришь, — сказала бабушка, — а через три дня стоскуешься. Я еще нагляжусь, как ты мечешься, словно тигр в клетке. Кто-кто, а уж я-то вволю нагляжусь, да и посмеюсь еще, на тебя глядя.

— Ты — женщина, — сказал дедушка. — Если вы прочтете в какой-нибудь книжке с сотнями страниц мелким шрифтом, будто женщина — это поистине чудесное творение, значит, писатель не глядел на свою жену и грезил. Пускай Джорги едет.

— Это просто значит, что ты уже не молодой, — сказала бабушка. — Потому и ворчишь так.

— Закрой рот, — сказал дедушка. — Или я прикрою его своей ладонью.

Дедушка обвел взглядом комнату, где собрались все его дети и внуки.

— Итак, он поедет в Ханфорд на велосипеде, — сказал он. — А вы как считаете?

Все промолчали.

— Значит, решено, — сказал дедушка. — Ну, а кого мы пошлем вместе с ним? Кого из наших неотесанных отпрысков мы в наказание отправим с Джорги в Ханфорд? Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто поездка в соседний город — одно удовольствие для юноши, так и знайте, что это написал какой-нибудь старикашка, который ребенком один-единственный раз прокатился в фургоне за две мили от дома. Кого б нам наказать? Васка, что ли? Ну-ка, подойди сюда, мальчик.

Мой кузен Васк поднялся с пола и вытянулся перед стариком, а тот свирепо на него поглядел, закрутил свои лихие усищи, прокашлялся и положил руку на лицо мальчугану. Ручища эта покрыла всю голову мальчика. Васк не шевельнулся.

— Поедешь с дядей Джорги в Ханфорд? — спросил дедушка.

— Как вы захотите, дедушка, — сказал Васк. Старик состроил гримасу, обдумывая этот сложный вопрос.

— Дайте-ка я поразмыслю, — сказал он. — Джорги — один из самых больших балбесов в нашем роду. Ты тоже. Мудро ли будет сложить двух дураков воедино? — Он обратился к присутствующим: — Послушаем, что вы скажете по этому поводу. Мудро ли будет соединить вместе взрослого болвана и подрастающего дурака из одного и того же рода? Выйдет ли из этого какой-нибудь толк? Высказывайтесь вслух, чтобы я мог взвесить.

— Я думаю, это самое подходящее дело, — сказал мой дядя Зораб. — Дурак с дураком в придачу. Взрослый — на работе, мальчик — по хозяйству.

— Может быть, и так, — сказал дедушка. — Давайте подумаем. Два дурака: один — на работе, другой — по хозяйству. Ты стряпать умеешь, мальчик?

— Конечно, умеет, — сказала бабушка. — По крайней мере, рис.

— Рис? Это правда, мальчик? — сказал дедушка. — Четыре чашки воды, чашка рису, чайная ложка соли. Знаешь ли ты, в чем тут весь фокус, чтобы вышло что-нибудь похожее на еду, а не на свиное пойло? Или это только наша фантазия?

— Ну конечно, он умеет варить рис, — сказала бабушка.

— Моя ладонь уже наготове, чтобы прикрыть тебе рот, — сказал дедушка. — Пусть мальчик скажет сам за себя. Язык у него есть. Сумеешь ли ты, мальчонка, это сделать? Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто вот такой малец отвечает мудро старику, значит, это писал иудей, склонный к преувеличениям. Можешь ты сварить рис, чтобы вышло кушанье, а не пойло?

— Рис я варил, — сказал Васк. — Ничего, есть можно.

— А хорошо ли ты его посолил? — спросил дедушка. — Если соврешь, попомни мою руку.

Васк не знал, что ответить.

— Понимаю, — сказал дедушка. — Насчет риса ты со-

мневаешься. Что у тебя там не ладилось? Мне нужна только правда. Выкладывай все без опаски. Всю смелую правду — и ничего с тебя больше не спросится. Что тебя смущает с этим рисом?

— Он был пересолен, — сказал Васк. — Мы потом пили воду весь день и всю ночь, такой он был соленый.







— Без дальнейших подробностей, — сказал дедушка. — Одни голые факты. Рис был пересолен. Естественно, что вы потом опились. Нам всем приходилось есть такой рис. Не думай, пожалуйста, что если ты пил воду весь день и всю ночь, так ты первый армянин, который это когда-нибудь делал. Скажи мне просто: рис был пересолен. Нечего меня учить: я ученый. Просто скажи, он был пересолен, и дай мне возможность судить самому, ехать тебе или нет. — Тут дедушка обратился ко всем остальным. Он опять загримасничал. — Этот мальчик, пожалуй, подходит, — сказал он. — Да говорите же, если у вас есть что сказать. Пересоленный рис лучше, чем какой-нибудь клейстер. Он какой у тебя получился — рассыпчатый?

— Рассыпчатый, — сказал Васк.

— Полагаю, его можно послать, — сказал дедушка. — А вода — это полезно для кишечника. Так кого же мы выберем: Васка Гарогланияна или другого мальчика?

— По зрелом размышлении, — сказал дядя Зораб, — два дурака, оба круглые, — пожалуй, не стоит, хотя рис у него и не поило. Я предлагаю Арама. Пожалуй, он подойдет. Он заслуживает наказания.

Все посмотрели на меня.

— Арама? — сказал старик. — Ты имеешь в виду мальчугана, который так славно смеется? Нашего Арама Гарогланияна?

— Кого он еще может иметь в виду? — сказала бабушка. — Ты прекрасно знаешь, о ком он говорит.

Дедушка медленно обернулся и с полминуты глядел на бабушку.

— Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, — сказал он, — про человека, который влюбился и женился на девушке, так и знайте: речь идет о юнце, которому и в голову не приходит, что она станет перечить ему всю жизнь, пока не сойдет в могилу девяноста семи лет от роду. Значит, речь там идет о желторотом юнце. Итак, — обратился он к дяде Зорабу, — ты имеешь в виду Арама Гарогланияна?

— Да, — сказал дядя Зораб.

— А чем же именно он заслужил такое страшное наказание?

— Он знает, — сказал дядя Зораб.

— Арам Гарогланиян, — позвал старик.

Я встал и подошел к дедушке. Он опустил свою тяжелую ручищу мне на лицо и потер его ладонью. Я знал, что он на меня не сердится.

— Что ты такого сделал, мальчик? — спросил он.

Я вспомнил, что я сделал такого, и засмеялся. Дедушка послушал, как я смеюсь, и стал смеяться вместе со мной.

Только он да я и смеялись. Остальные не смели. Дедушка не велел им смеяться, пока они не научатся смеяться, как он. Я был единственный из всех Гарогланиянов, который смеялся совсем как дедушка.

— Арам Гарогланиян, — сказал дедушка. — Расскажи нам, что ты натворил.

— А в какой раз? — спросил я. Дедушка обернулся к дяде Зорабу.

— Слышишь? — спросил он. — Объясни мальчику, в каком грехе ему признаваться. Оказывается, их было несколько.

— Он знает, в каком, — сказал дядя Зораб.

— Вы про то, что я показывал перед соседями, как выковыряетесь в зубах? И одной рукой прячете то, что выдвывает другая?

Дядя Зораб промолчал.

— Или про то, как я передразнивал вашу походку и разговор?

— Вот этого мальчишку и надо послать с Джорги, — сказал дядя Зораб.

— А рис у тебя получается? — спросил меня дедушка. Он не стал вдаваться в подробности о том, как я насмеялся над дядей Зорабом. Если я умею варить рис, я поеду с Джорги в Ханфорд. Вот как ставился вопрос. Конечно, я хотел ехать, каков бы ни был писатель, который говорил, что мальчику интересно поехать по свету. Будь он дурак или лжец — все равно, я хотел ехать.

— Рис у меня получается, — сказал я.

— Пересоленный, переваренный или какой там еще? — сказал дедушка.

— Когда пересоленный, когда переваренный, а когда и в самую точку.

— Поразмыслим, — сказал дедушка. Он прислонился к стене и стал думать.

— Три стакана воды, — сказал он бабушке.

Бабушка сходила на кухню и принесла три стакана воды на подносе. Дедушка выпил стакан за стаканом, потом повернулся к присутствующим и состроил глубокомысленную гримасу.

— Когда пересоленный, — сказал он, — когда переваренный, а когда и в самую точку. Годится этот мальчик, чтобы послать его в Ханфорд?

— Да, — сказал дядя Зораб. — Только он.

— Да будет так, — сказал дедушка. — Все. Я хочу остаться один.

Я, было, двинулся с места. Дедушка придержал меня за шиворот.

— погоди минутку, — сказал он.

Когда мы остались одни, он сказал:

— Покажи, как разговаривает дядя Зораб.

Я показал, и дедушка хохотал до упаду.

— Поезжай в Ханфорд, — сказал он. — Поезжай вместе с дураком Джорги, и пусть себе будет когда пересоленный, когда переваренный, а когда и в самую точку.

Вот так-то меня и назначили в товарищи к дяде Джорги, когда его отсылали в Ханфорд.

Мы выехали на следующее утро чуть свет. Я сел на велосипедную раму, а дядя Джорги — на седло, а когда я устал, слезал и шел пешком, а потом слезал и шел дядя Джорги, а я ехал один. Мы добрались до Ханфорда только к вечеру.

Предполагалось, что мы останемся в Ханфорде до конца арбузного сезона, пока будет работа. Таковы были планы. Мы пошли по городу в поисках жилья, какого-нибудь домика с газовой плитой и водопроводом. Без электричества мы могли обойтись, но газ и вода нам были нужны непременно. Мы осмотрели несколько домов и наконец нашли один, который дяде Джорги понравился,

так что мы в него въехали в тот же вечер. Это был дом в одиннадцать комнат, с газовой плитой, водопроводной раковиной и спальней, где стояли кровать и кушетка. Остальные комнаты были пустые.

Дядя Джорги зажег свечу, взял свою цитру, уселся на пол и начал играть и петь. Это было прекрасно. Иногда это звучало грустно, иногда весело, но все время прекрасно. Не помню, долго ли он пел и играл, пока наконец проголодался, встал вдруг и сказал:

— Арам, я хочу рису.



В этот вечер я сварил горшок рису, который был и пересолен и переварен, но дядя Джорги поел и сказал:

— Арам, замечательно вкусно.

Птицы разбудили нас на заре.

— За работу, — сказал я. — Вам начинать сегодня же, помните.

— Сегодня, сегодня, — проворчал дядя Джорги.

С трагическим видом он вышел из пустого дома, а я стал искать метлу. Метлы не нашлось, я вышел на крыль-

цо и уселся на ступеньки. При дневном свете это оказался прелестнейший уголок. Улица была всего в четыре дома. На другой стороне невидалеке виднелась колоколья. Я просидел на крыльце целый час. Дядя Джорги подъехал ко мне на велосипеде, петляя по улице в безудержном веселье.

— Слава богу, не в этом году, — сказал он. Он свалился с велосипеда в розовый куст.

— Что с вами? — спросил я.

— Нету работы, — сказал он. — Слава богу, нету работы.

Он сорвал и понюхал розу.

— Нет работы? — спросил я.

— Нету, нету, слава создателю.

Он смотрел на розу улыбаясь.

— Почему нету? — спросил я.

— Арбузов нет, — сказал он.

— Куда же они девались?

— Кончились.

— Это неправда, — сказал я.

— Кончился сезон, — сказал дядя Джорги.

— Дедушка вам голову свернет, — сказал я.

— Кончился сезон, — повторил дядя Джорги. — Слава богу, арбузы все собраны.

— Кто это вам сказал?

— Сам фермер. Сам фермер сказал мне это.

— Это он просто так. Просто он не хотел вас расстраивать. Он сказал это так, потому что знал, что вам не по душе работа.

— Слава богу, — сказал дядя Джорги. — Сезон уже окончен. Чудесные спелые арбузы все собраны.

— Что же мы теперь будем делать? — сказал я. — Ведь сезон только-только начался.

— Кончился он, — сказал дядя. — Мы проживем в этом доме месяц, а потом поедem домой. За квартиру шесть долларов мы заплатили, а на рис у нас денег хватит. Мы проведем здесь этот месяц в сладких грезах, а потом поедem домой.

— Без гроша в кармане, — сказал я.

— Зато в добром здоровье, — сказал он. — Слава создателю, который дал им созреть так рано в этом году.

Дядя Джорджи протанцевал в дом к своей цитре, и прежде чем я решил, что с ним делать, он уже пел и играл. Это было так прекрасно, что я и не подумал вставать и гнать его из дому. Я просто сидел на крыльце и слушал.

Мы прожили в этом доме месяц, а потом вернулись домой. Первой нас увидела бабушка.

— Вовремя вы домой возвращаетесь, — сказала она. — Он свирепствует, как тигр. Давай сюда деньги.

— Денег нет, — сказал я.

— Он не работал?

— Нет, — сказал я. — Он пел и играл на цитре весь месяц.

— Как у тебя получался рис?

— Когда пересоленный, когда переваренный, а когда и в самую точку. Но он не работал.

— Дедушка знать об этом не должен, — сказала она. — У меня есть деньги.

Бабушка подобрала юбки, достала несколько бумажек из кармана панталон и сунула их мне в руки.

— Отдашь ему эти деньги, когда он придет домой.

Она поглядела на меня минутку, потом добавила:

— Арам Гарогланиян!

— Я сделаю, как вы велели, — сказал я.

Как только дедушка пришел домой, он сразу забушевал.

— Вы уже дома? Сезон так рано кончился? Где деньги, которые он заработал?

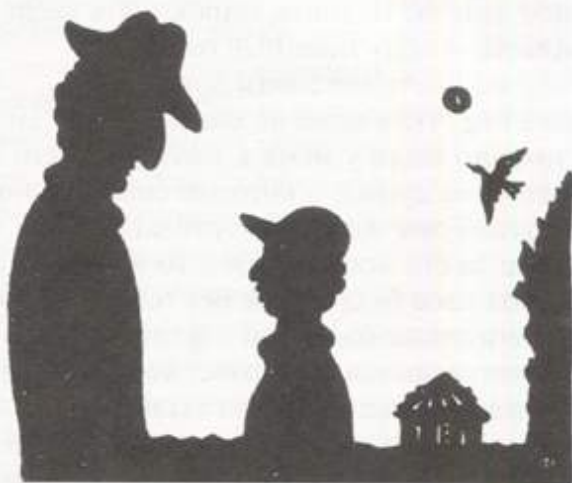
Я подал ему деньги.

— Я не потерплю, чтобы он тут распевал целыми днями, — рычал дедушка. — Всему есть границы. Если вы прочтете в какой-нибудь книжке, будто отец любил глупого сына больше умных своих сыновей, так и знайте, что это писал человек бездетный.

Во дворе, в тени миндального дерева дядя Джорджи заиграл и запел. Дедушка так и замер на месте, заслушался. Он сел на кушетку, скинул башмаки и принялся строить гримасы.

Я побежал на кухню и выпил залпом несколько кружек воды, чтобы утолить жажду после вчерашнего риса. Когда я вернулся в гостиную, старик лежал, растянувшись на кушетке, и улыбался во сне, а его сын, мой дядя Джорджи, пел хвалу мирозданию во всю мощь своего прекрасного, печального голоса.





ПЯТИДЕСЯТИАРДОВЫЙ ПРОБЕГ

Мне было двенадцать лет в тот год, когда пришло письмо из Нью-Йорка, после которого я решил стать самым сильным человеком в округе. Письмо это было от моего друга Лайонела Стронгфорта. Незадолго до этого я вырезал купон из журнала «Смелые мореплаватели», подписал его, вложил в конверт и отослал по почте мистеру Стронгфорту. Он ответил мне сразу же. С увлечением, доходившим до неподдельного восторга, он писал, что я, мол, несомненно, человек исключительного ума, что во мне заложены исполинские возможности и что, в отличие от обычных, заурядных людей, болтунов и фантазеров, из меня со временем выйдет какая-нибудь знаменитость.

Его мнение обо мне мало чем отличалось от моего собственного. Мне было очень приятно получить столь красноречивое подтверждение моих мыслей, в особенности из Нью-Йорка, да еще от человека, обладающего самой широкой грудной клеткой в мире.

К письму было приложено несколько фотографий мистера Стронгфорта, весь костюм которого состоял из куса леопардовой шкуры. Это был огромный детина, а ведь когда-то, по его словам, он был тщедушным. Казалось, он весь с головы до ног был составлен из тугих мускулов.

и, наверное, мог бы поднять, опрокинуть вверх колесами автомобиль «форд» типа 1920 года.

Было честью иметь его своим другом.

Но беда в том, что у меня не хватало денег. Не помню, сколько именно было у меня к началу нашего знакомства, но это была сумма, о которой совершенно не стоило говорить. Горя желанием отблагодарить мистера Стронгфорта за его восторги, я в то же время не знал, как объяснить свое безденежье без того, чтобы сразу не оказаться в его глазах болтуном и фантазером.

Поэтому, откладывая свой ответ со дня на день в поисках слов, которые не омрачали бы нашей дружбы и не низвели бы меня в разряд ничтожеств, я решил посоветоваться с моим дядей Гико, изучившим в то время восточную философию. Он был поражен моим редким честолюбием, но отнесся ко мне вполне благосклонно.

Он мне сказал, что согласно учению йогов секрет духовной мощи состоит в том, чтобы освободить в себе те таинственные жизненные силы, которые заключены в каждом человеке.

— Эта мощь, — сказал он на ужасном английском языке, которым любил щегольнуть в разговоре со мной, — происходит от бога. Говорю тебе, Арам, это есть удивительно.

Я поведал ему, что решил сделаться силачом, но не смогу за это приняться до тех пор, пока не пошлю мистери Стронгфорту денег.

— Деньги! — воскликнул мой дядя с презрением. — Поверь мне, Арам, деньги — это ничто. Бога все равно не подкупишь.

Хотя дядю Гико нельзя было назвать тшедушным, но он, конечно, не был таким силачом, как Лайонел Стронгфорт. Случись им схватиться во французской борьбе, мистер Стронгфорт наверняка применил бы к дяде какой-нибудь Полунельсон или захват головы и заставил бы его сдаться, а не то раздавил бы насмерть. Однако как сказать. Хотя дядя далеко не был таким здоровенным, как мистер Стронгфорт, зато мистер Стронгфорт не был таким воинственным, как дядя. Во всяком случае, в схватке

с дядей мистер Стронгфорт испытывал бы несомненно достаточно неприятностей из-за тех таинственных жизненных сил, которые постоянно высвобождались в моем дяде, чей молниеносный взгляд нередко заставлял даже здоровяка замолкать и опустить глаза.

Задолго до того, как я нашел слова, чтобы объяснить-ся с мистером Стронгфортом по поводу денег, я получил от него второе письмо. Оно было таким же сердечным, как и первое, даже, пожалуй, еще сердечнее. Я был восхищен и рьяно принялся высвобождать свои таинственные жизненные силы: ходил колесом, кувыркался, лазил по деревьям, пытался опрокинуть «форд» 1920 года, вызывал на борьбу всех желающих — словом, чем только мог раздражал и тревожил своих родных и соседей.

Мистер Стронгфорт, оказывается, не только не был сердит на меня, но даже снизил плату за учение. Однако деньги, которые требовались, все еще превышали мои возможности. Я каждый день продавал газеты, но эти деньги шли на еду. Одно время я вставал по утрам чуть свет и бродил по городу в поисках бумажника, набитого деньгами. За неделю таких хождений я нашел один пятак и два цента. Мне попалась также дамская сумочка с какой-то вонючей косметикой, но без гроша и с листочком бумаги, на котором было написано неумелой рукой: «Стив Хэртвиг, Вентура-авеню, д. 3764».

Через три дня после второго письма я получил от мистера Стронгфорта третье послание. Наша переписка становилась односторонней. В самом деле, ведь я совсем ему не писал. Письма мистера Стронгфорта были неотразимы, но без денег отвечать на них было трудно. Скажем прямо, отвечать было нечего.

Первое письмо пришло еще зимой, тогда-то я и решил стать самым сильным человеком в округе, а в дальнейшем, может быть, и одним из самых сильных людей в мире. У меня были свои собственные идеи, как этого добиться, а кроме того, мне помогала горячая дружба и высокое покровительство мистера Стронгфорта из Нью-Йорка, а дома — таинственная и неистовая опека дяди Гико.

Письма от мистера Стронгфорта продолжали приходить каждые два-три дня всю зиму и весну. Помню, в тот день, когда абрикосы достаточно созрели, чтобы их собирать, я получил от моего друга из Нью-Йорка одно из самых чарующих посланий.

Это был гимн новой жизни, весенней поре, душевному обновлению, свежим силам, новой решимости и многим другим вещам. Это было поистине превосходное послание, такое же, вероятно, прекрасное, как «Послание римлянам». Оно было проникнуто величием легенды, ощущением мироздания, гордым чувством собственной силы, столь присущими библейским временам. В последнем абзаце этого упоительного гимна, с оговорками и извинениями, упоминался презренный вопрос о деньгах. Сумма была уменьшена в несколько раз по сравнению с прежней, а в планах мистера Стронгфорта относительно моего превращения из полного ничтожества в великана устрашающей силы и исключительной привлекательности для женщин появилось нечто новое. По словам мистера Стронгфорта, он намеревался обучить меня «с одного маху» или что-то в этом роде. Во всяком случае, за три доллара он был готов прислать мне все свои секреты в одном конверте, а дальше вся надежда возлагалась на меня самого и на историю.

Я обсудил это дело с дядей Гико, который к тому времени достиг стадии поста, самосозерцания, многочасовой, ежедневной ходьбы и вибрирования. Мы толковали с ним всю зиму, раза два-три в неделю, и он поведал мне на своем неподражаемом ломаном английском языке все тайны, которым он научился у йогов.

— Понимаешь, Арам, — говорил он, — я могу все. Это есть удивительно.

Я ему верил, несмотря на то, что он здорово потерял в весе, лишился сна, а глаза его как-то странно блестели. В ту зиму он смотрел на мир весьма презрительно и испытывал глубокую жалость к славным бессловесным животным, которых люди мучают, убивают, поедают, приручают и обучают всяким фокусам.

— Арам, — говорил он, — это есть преступление заставляя лошадей работать. И убивать коров. И учить собак прыгать, а обезьян — курить трубку.

Я рассказал ему о последнем письме мистера Стронгфорта.

— Деньги! — воскликнул дядя. — Вечно они требуют денег. Это мне не нравится.

Весь свой магический дурман мой дядя приобрел совершенно бесплатно в публичной библиотеке, из теософско-философско-астрологических и еще всяческих книг. Сам он, однако, верил, что получил его прямо от господ бога. Прежде, до того как он взялся за йогов, это был



добрый малый, гуляка, любитель рисовой водки, но, когда на него снизошла благодать, он бросил пить. Он говорил, что вкушает теперь напиток прекраснее, чем рисовая водка или что бы там ни было.

— Что же это? — спросил я.

— Арам, — изрек он важно, — это есть мудрость. Так или иначе, он был невысокого мнения о мистере Стронгфорте и считал его просто шарлатаном.

— Да нет, он малый ничего, подходящий, — защищал я нового друга.

Но дядя разъярился, стал высвобождать таинственные жизненные силы и сказал:

— Я разобью ему голову, чтобы он не дурачил вашего брата, малышей.

— Никого он не дурачит, — сказал я. — Он обещал передать мне все свои тайны за три доллара.

— Послушай, Арам, — возмутился дядя Гико. — Он не знает никаких тайн. Он обманщик.

— Ну, не знаю, — сказал я. — Это дело требует проверки.

— Ладно, — согласился дядя Гико. — Это преступление. Но я дам тебе три доллара.

Дядя Гико дал мне три доллара, и я отослал их мистеру Стронгфорту. И вот из Нью-Йорка пришел конверт, набитый тайнами мистера Стронгфорта. Они оказались до странности простыми. Все это я знал и так, да только ленился делать. Весь секрет заключался в том, чтобы вставать пораньше и делать с полчаса разные акробатические упражнения, изображенные на картинках. Потом пить вволю воды, побольше бывать на воздухе, есть свежие, питательные продукты и продолжать так до тех пор, пока не станешь великаном.

Я почувствовал легкое разочарование, о чем и сообщил мистеру Стронгфорту коротким вежливым письмом. Он мне ничего не ответил, и с тех пор я никогда о нем не слыхал. Тем временем я следовал его советам и становился сильнее с каждым днем. Говоря «тем временем», я хочу сказать, что исполнял его советы четыре дня. На пятый день я решил спать, вместо того чтобы вскакивать

чуть свет, будить весь дом и досажать бабушке. Она просыпалась в полутьме и кричала, что я непрактичный балбес и что не быть мне никогда богатым. Потом засыпала на пять минут, просыпалась опять и кричала, что коммерсанта из меня никогда не выйдет. Потом опять засыпала, просыпалась и кричала, что у одного короля было три сына: старший — умный, в отца, средний — помещанный на девочках, а младший — безмозглый, как курица. Вслед за этим она вставала с постели и, пока я делал свои упражнения, во весь голос досказывала сказку до конца.

Сказка обычно призывала меня быть благоразумным и не будить бабушку каждый день ни свет ни заря. Такова всегда бывала мораль, хотя сама сказка могла быть о трех сыновьях короля, или о трех братьях, одинаково богатых и алчных, или о трех дочерях, или о трех загадках, или о трех дорогах, или еще о чем-нибудь в этом же роде.

Все это, впрочем, она говорила на ветер, потому что удовольствия от своих акробатических упражнений спростонья я получал не больше, чем сама бабушка. Мало-помалу я понял, что все это сущий вздор и что дядя Гико был совершенно прав в своей оценке мистера Стронгфорта.

Так что я отбросил систему мистера Стронгфорта и обратился к своей собственной, которая, в общем, сводилась к следующему: не усердствовать понапрасну и сделаться самым сильным человеком в округе без всяких волнений и упражнений. Так я и поступал в дальнейшем.

Той весной школа имени Лонгфелло объявила спортивные состязания: школа против школы, участвуют все до единого.

«Вот где я сумею показать себя», — подумал я. Я считал, что выйду первым по всем видам спорта.

Так или иначе, постоянные размышления об атлетике превратились в страстное ожидание, которое длилось во мне день и ночь, так что задолго до состязаний я уже сотни и тысячи раз проделал бег на пятьдесят ярдов, прыжки в длину с разбега и с места и прыжок в высоту — и побил своих соперников во всех видах.

Это страшное внутреннее напряжение, достойное настоящего йога, в день состязаний перешло в лихорадку.

Наконец настала минута, когда мне и трем другим атлетам, из которых один был грек, нужно было выйти на старт, подготовиться и бежать. И вот я, зажмурив глаза, рванулся вперед со скоростью, невиданной в истории атлетики.

Мне казалось, никогда еще ни один человек не бегал так быстро. В своем воображении я пробежал пятьдесят раз по пятьдесят ярдов, прежде чем открыл глаза, чтобы убедиться, как далеко позади я оставил остальных бегунов. Я был ужасно поражен тем, что увидел.

Все три мальчика были на четыре ярда впереди меня и быстро удалялись.

Это было уму непостижимо. Это было невероятно, но это было так. Должно быть, произошла какая-то ошибка; но нет: вот они, впереди меня, и убегают все дальше.

Ну что же, это означает, что я должен обогнать их с открытыми глазами и выиграть бег. Вот и все, так я и сделаю. Однако, несмотря на все мои старания, они продолжали (непостижимо!) убежать все дальше и дальше. Тогда я разъярился и, решив поставить на место этих нахалов, принялся высвобождать весь запас таинственных жизненных сил, которыми располагал. Однако даже это не приблизило меня к ним ни на шаг, и я понял, что каким-то неведомым путем меня обманули. А коли так, решил я, пристыжу обманщика тем, что все-таки выиграю состязание! И я еще раз вложил в бег всю свою жизненную силу. Бежать оставалось не так уж много, и я был уверен, что смогу еще всех обогнать.

Скоро я окончательно убедился, что это не так.

Бег кончился.

Я пришел последним, отстав на десять ярдов.

Ничуть не колеблясь, я тут же заявил протест и вызвал бегунов на новый пробег, на ту же дистанцию. Они решительно отказались, а это, конечно, означало, что они боятся состязаться со мной. Я им так и сказал: они, мол, сами отлично знают, что я их побью.

Почти то же самое произошло со мной и во всех других видах спорта.

Я вернулся домой в сильном жару и ужасно злой. Всю ночь я бредил и проболел три дня.

Бабушка очень нежно за мной ухаживала, и, возможно, только благодаря ей я не умер. Когда дядя Гико меня навестил, у него уже не было таких ввалившихся щек, как прежде. Видно, поститься он перестал, а постился перед этим долго — сорок дней и сорок ночей. Самосозерцание он тоже бросил, ибо, в сущности, исчерпал предмет до дна. Теперь дядя был по-прежнему добрый малый, выпивоха, гуляка и неутомимый ухажер.

— Запомни, Арам, — говорил он, — мы — великий род. Мы можем все.





СТАРОМОДНЫЙ РОМАН С ЛЮБОВНЫМИ СТИХАМИ И ВСЕМ ПРОЧИМ

Мой кузен Арак был на полтора года младше меня, круглолицый, смуглый, с прекрасными манерами. И это не было притворством: хорошие манеры были для него так же естественны, как для меня — дурные. В школе, там, где Арак легко выходил из самого затруднительного положения с помощью милейшей улыбки, которая обнажала его редкие верхние зубы и расплавляла каменное сердце нашей учительницы, мисс Дафни, — там я, бывало, стремился доискаться сути происшествия и шумно и энергично доказывал, что виновата сама мисс Дафни или кто-нибудь еще, только не я, и готов был дойти хоть до Верховного суда, лишь бы доказать свою невиновность.

Обычно меня отсылали к директору. Иногда я получал трепку за то, что вступал в прения с мистером Деррингером, нашим директором, который спорщиком был никудышным. Как только я припираю его к стенке, он тотчас же хватался за ремень.

Арак был не такой; он и не думал бороться за справедливость. Смышленостью, в отличие от меня, он тоже

далеко не блистал, но хотя был младше меня на полтора года, учился со мной в одном классе. Обычно споры с учителями я выигрывал, но вместо того, чтобы с радостью от меня избавиться, они отказывались перевести меня в следующий класс — в надежде, вероятно, выиграть спор у второгодника и таким путем расквитаться со мной. Вот почему вышло так, что я оказался самым старшим учеником в пятом классе.

Однажды мисс Дафни взялась доказать всему свету, что я и никто иной был автором написанных на классной доске стихов, в которых говорилось, что мисс Дафни влюблена в мистера Деррингера и что она — уродина. Но автором стихов был не я, а мой кузен Арак. Я не стал бы писать стихов о мисс Дафни, а написал бы о чем-нибудь более стоящем. Однако мисс Дафни, не называя имен, но с линейкой в руке стала за моей партой и сказала:

— Я намерена выяснить, кто совершил это безобразие на доске, я уж добьюсь того, что он будет примерно наказан.

— Он? — сказал я. — А откуда вы знаете, что это мальчик, а не девочка?

Мисс Дафни ударила меня линейкой по пальцам правой руки.

Я вскочил и сказал:

— Не смейте бить меня по пальцам. Я на вас буду жаловаться.

— Сядь, — сказала мисс Дафни.

Я сел. Она схватила меня за правое ухо, которое давно потеряло форму, оттого что за него постоянно хватались мисс Дафни и другие учителя.

Я сел на место и тихо, почти неслышно, сказал:

— Вы еще услышите обо мне.

— Придержи язык, — сказала мисс Дафни.

И хотя я был зол, как черт, я высунул язык и придержал его пальцами, а маленькие японские, мексиканские, армянские, греческие, итальянские, португальские и обыкновенные американские мальчики и девочки, которые, как всегда, ожидали от меня представления, разразились хохотом. Мисс Дафни взмахнула линейкой и

нечаянно задела меня по носу. Это было тем более оскорбительно, что нос у меня был тогда, как и теперь, основательный. Маленького носа линейка не зацепила бы, и я принял жест мисс Дафни за тонкий намек на размеры моего носа.

Я схватился ушибленной рукой за потревоженный нос и опять вскочил на ноги.

— Вы сами сказали, чтобы я придержал язык, — сказал я и стал утверждать, что я не сделал ничего дурного, в точности выполнил ее приказание и поэтому невиновен, а значит, не заслужил ни разбитой руки, ни оцарапанного носа.

— Ну, ну, умерь свой пыл, — оказала мисс Дафни. — Я не желаю больше терпеть твои глупости. Веди себя прилично.

Я отнял руку от носа и начал вести себя прилично. Я улыбался, как пай-мальчик, подносящий своей бабушке красное яблочко.

Мои зрители ревели от смеха, а мисс Дафни уронила линейку, бросилась ко мне, споткнулась о парту, упала, вскочила — и пошла гонять меня по всей комнате.

«Опять я влип, — говорил я себе, пока мисс Дафни гоняла меня по классу. — Опять попал в дурацкую историю, которая непременно кончится убийством, а мой кузен Арак, единственный виновник всего, знает себе сидит да посмеивается. Нет справедливости на земле».

Когда мисс Дафни меня наконец поймала, или, вернее, когда я дал себя поймать, потому что не хотел получить еще более строгое наказание от мистера Деррингера, произошла настоящая свалка: мисс Дафни пыталась выдавить мне глаза, оторвать уши, пальцы и руки, а я старался ее убедить, что она должна быть мягкой и женственной.

Когда она выдохлась, я вернулся на место, и снова речь пошла о главном преступлении: кто автор любовных стихов на доске?

Мисс Дафни привела в порядок волосы и одежду, отдышалась, потребовала тишины и после нескольких мгновений молчания, когда было слышно, как тикают часы, заговорила:

— Я буду спрашивать всех по порядку: не ты ли написал эти безобразные стишки на доске? И я надеюсь услышать правду. Если вы мне солжете, я все равно обнаружу виновника, и он будет наказан еще строже.

И она стала спрашивать всех мальчиков и девочек по порядку, не они ли написали эти стихи, и конечно же, они отвечали, что нет. Она спросила моего кузена Арака, и он тоже сказал, что нет. Тогда она спросила меня, и я ответил «нет», и это была правда.

— Ступай к директору, — сказала она. — Лгунишка!



— Никаких стихов я ни на какой доске не писал, — сказал я. — И вовсе я не лгунишка.

Мистер Деррингер принял меня не очень восторженно. Через две минуты из класса явилась Сузи Кокомото с донесением от мисс Дафни, где описывалось мое злодеяние. И не только описывалось, но и цитировалось. Мистер Деррингер прочел донесение, загримасничал, заулыбался, шелкнул подтяжками, кашлянул и сказал:

— Зачем ты написал эти стишки?

- Ничего я не писал, — сказал я.
- Разумеется, ты будешь говорить, что не писал, но зачем ты все-таки это сделал?
- Ничего я не делал, — сказал я.
- Не упрямясь, — сказал мистер Деррингер. — Это тревожные слухи, и распространять их не следует. Откуда ты знаешь, что мисс Дафни в меня влюблена?
- А она и впрямь влюблена? — спросил я. — Ну, — сказал мистер Деррингер, — здесь так говорится. Отчего у тебя такое впечатление? Может быть, ты заметил, что она смотрит на меня с восхищением или еще как-нибудь?
- Да не замечал я, чтоб она с чем-то на вас смотрела, — сказал я. — Может, вы сами в нее влюблены?
- Это требует уточнения, — сказал мистер Деррингер. — В общем, стихи не плохие. Вот только одно... Ты в самом деле находишь, что мисс Дафни так некрасива?
- Не писал я этих стихов, — оказал я. — Я так вообще не пишу.
- Ты хочешь сказать, что на доске не твой почерк? — спросил мистер Деррингер.
- Да, — сказал я, — и, кроме того, я не пишу таких стихов, как эти.
- Но ты признаешь, что вообще-то пишешь стихи?
- Вообще-то стихи я пишу, — сказал я, — только не такие.
- Распространять такую молву... — продолжал мистер Деррингер. — Да ты понимаешь, что делаешь?
- Я понимаю только одно, — сказал я. — Я этих стихов не писал.
- Что до меня, — сказал мистер Деррингер, — я нахожу, что мисс Дафни совсем не так уж дурна. Напротив, она привлекательна.
- Ну и прекрасно, — сказал я. — Все, что я хочу, это не отвечать за чужие грехи.
- А все-таки эти стихи мог написать ты, — сказал мистер Деррингер.
- Эти — нет. Я написал бы лучше.
- Что значит лучше? Красивее? Или оскорбительнее?

— Конечно, красивее. Только не о вашей мисс Дафни.
— Вот оно что, — сказал мистер Деррингер. — Я готов был усомниться, что ты автор этих стихов, но теперь ты меня убедил. Стихи написаны тобою. Поэтому я должен тебя наказать.

Я вскочил и стал спорить:

— Вы хотите задать мне трепку за то, чего я не делал. Ладно, вы еще услышите обо мне.

И он задал мне трепку, и вся школа меня услышала. Я вернулся в класс прихрамывая.

Стихи с доски были стерты. Все было опять как следует. Преступник должным образом наказан, стихи уничтожены, порядок в пятом классе восстановлен.

Мой кузен Арак сидел тихонько, любуясь темными локонами Алисы Бовард.

Как только началась перемена, я сбил его с ног и сел на него верхом.

— За твою пакость на доске я получил трепку, — сказал я, — так что не вздумай больше писать.

Однако на следующий день поутру на доске красовались новые стихи, написанные, несомненно, рукой моего кузена Арака и, несомненно, в его стиле, а мисс Дафни опять собиралась изобличить и покарать преступника.

Когда я вошел в класс, увидел стихи и понял, как обстоит дело, я возмутился. Арак зашел слишком далеко. Я стал ругать его по-армянски. А он будто оглох, и мисс Дафни вообразила, что моя речь относится к ней.

— Вот что, — сказала она, — говори на языке, понятном для всех, если у тебя есть что сказать.

— Мне нужно сказать только то, что я не писал этих стихов. И вчера тоже. Если я опять попаду в историю из-за этих паршивых стихов, кое-кто обо мне еще услышит.

— Сядь.

После переклички мисс Дафни исписала целый лист бумаги, включив туда новые стихи, и велела мне отнести записку директору.

— С какой стати? — говорю я. — Я не писал никаких стихов.

— Делай, что тебе сказано! — приказала мисс Дафни.

Я подошел к ее столу и протянул руку за запиской.

Мисс Дафни ударила меня по руке линейкой. Я отскочил от нее подальше и закричал:

— Не стану я носить ваши любовные записки!

Это, конечно, было чересчур. Мисс Дафни не выдержала и бросилась на меня. Я же был так зол на кузена Арака, что увернулся и прыгнул на него. Он притворился невинной жертвой и даже будто не сопротивлялся, но был такой ловкач, что вышел невредимым, тогда как я растянулся во весь рост на полу.

Тут-то мисс Дафни меня и настигла. Победа осталась за нею.

Когда я явился с докладом к директору, я был весь в синяках и царапинах, а любовная записка мисс Дафни к мистеру Деррингеру была измята и местами порвана.

— Что это ты так редко заглядываешь? — сказал мистер Деррингер. — Ну, давай сюда записку. Поглядим, что ты там учинил на этот раз.

Он взял записку, развернул, разгладил ее на столе и медленно стал читать. Он перечел записку несколько раз. Он был очень доволен и, насколько я мог судить, влюблен. Он повернулся ко мне с широкой улыбкой и собирался дать мне новый нагоняй за то, что я считал мисс Дафни уродиной.

— Я не писал стихов, — поспешно сказал я. — И вчера тоже. Ничего мне от вас не нужно, я хочу только получить какое ни на есть образование. Чтобы можно было жить и давать жить другим.

— Ладно, ладно, — сказал мистер Деррингер.

Он был совершенно доволен.

— Если вы в нее влюблены, — сказал я, — дело ваше, а меня оставьте в покое.

— Все-таки, по-моему, о наружности мисс Дафни ты мог бы выразиться полубезнее, — сказал мистер Деррингер. — Если ты ее считаешь дурнушкой, другие, может быть, этого не находят.

Ох, и надоело же мне это: ничем его не проймешь!

— Хорошо, — говорю. — Завтра я буду любезнее.

— Вот это уже лучше, — сказал мистер Деррингер. — А теперь я тебя накажу.

Он протянул руку к нижнему ящику стола, где лежал его ремень.

— Ну нет, — говорю. — Если вы меня накажете, я не буду любезнее.

— А как же быть с сегодняшними стихами? — сказал мистер Деррингер. — За них-то я должен тебя наказать? Ну, а завтра посмотрим.

— Нет, — говорю, — номер не пройдет.

— Ну хорошо, — говорит мистер Деррингер. — Только смотри — будь полюбезнее.

— Ладно, постараюсь, — говорю. — Можно теперь идти?

— Да, да, — оказал он. — Я подумаю.

Я направился к выходу.

— погоди-ка минутку, — сказал мистер Деррингер. — Каждый поймет, что тут дело нечисто, если не будет слышно, как ты реवेशь. Поди-ка сюда да пореви как следует, а потом ступай себе с миром.

— Реветь? — сказал я. — Как же мне реветь, когда меня не трогают?

— А ты постарайся, — сказал мистер Деррингер. — Просто вопи погромче, как будто тебе очень больно. У тебя это выйдет.

— Вот уж не знаю.

— Я буду стегать ремнем вот по этому стулу, а ты реви, — сказал мистер Деррингер. — Десять раз подряд.

— Думаете, сойдет?

— Конечно, сойдет. Валяй.

Мистер Деррингер хлестнул ремнем по стулу, а я постарался взреветь, как накануне, но получилось у меня это не очень-то естественно. Звук вышел какой-то фальшивый.

Мы были увлечены этим делом, когда в кабинете появилась мисс Дафни собственной персоной. Из-за шума мы ее не сразу заметили.

На десятом ударе я обернулся к мистеру Деррингеру и сказал:

— Стоп, уже десять.

И тут я увидел мисс Дафни. Она стояла ошеломленная, с разинутым ртом.

— Еще немножко, сынок, — сказал мистер Деррингер. — Чтoб в полную меру.

Я не успел его предупредить, что вошла мисс Дафни, и он опять принялся хлестать стул, а я заревел, как прежде.

Ну и нелепость!

Тут мисс Дафни кашлянула, мистер Деррингер обернулся и узрел ее, свою возлюбленную.

Она молчала. Она потеряла дар речи. Мистер Деррингер улыбнулся. Он был очень смущен и стал размахивать ремнем безо всякого толка.

— Я наказываю мальчика, — сказал он.

— Понимаю, — сказала мисс Дафни.

Но она не понимала. Во всяком случае, не вполне.

— Я не потерплю среди учеников нашей школы нахалов, — сказал мистер Деррингер.

Он был безумно в нее влюблен. Размахивая ремнем, он пытался хоть как-нибудь поднять себя в ее глазах. Однако мисс Дафни совсем не оценила такой формы наказания; когда вместо мальчишки секут стул и мальчишка при этом ревет, — значит, они оба, и мужчина и мальчик, просто издеваются над правосудием и над ее преданной любовью! Она кинула на директора весьма ядовитый взгляд.

— О! — сказал мистер Деррингер. — Вы хотите сказать, я ударял по стулу? Но это мы только репетировали, правда, сынок?

— Нет, неправда, — сказал я.

Мисс Дафни, разъяренная, повернулась и исчезла, а мистер Деррингер опустил на стул.

— Смотри-ка, что ты наделал, — сказал он.

— А что же, — говорю, — если вы собираетесь завести с ней роман, — на здоровье, пожалуйста, но меня в это дело не вмешивайте.

— Да, — сказал мистер Деррингер, — вот оно как, ничего не поделаешь.

Он совсем приуныл.

— Ладно, — добавил он, — ступай в класс.
— Только я хочу, чтобы вы знали, что я не писал этих стихов.

— Какое это имеет значение?

— Я думал, вам, может быть, интересно.

— Все равно слишком поздно, — сказал он. — Теперь она больше не станет мной восхищаться.

— А почему бы вам самому не написать ей стихов? — спросил я.

— Я не умею писать стихов, — сказал мистер Деррингер.

— Ну, тогда, — говорю, — попробуйте как-нибудь иначе.

Когда я вернулся в класс, мисс Дафни была со мной очень вежлива. Я с ней тоже. Она знала, что я все знаю, и понимала, что со мной шутки плохи: ведь я мог либо расстроить ее роман, либо сделать так, что она выйдет замуж за директора, так что держалась она со мной дружелюбно.

Через две недели занятия кончились, а после каникул мисс Дафни в школе больше не появлялась. То ли мистер Деррингер не написал ей стихов, а если и написал, то плохие; то ли он не сказал ей, что любит ее, или, если сказал, то она отнеслась к этому безразлично; а то, может быть, он сделал ей предложение, но она ему отказала, потому что я все про них знал, и вот она перешла в другую школу, чтобы исцелить свое разбитое сердце. Что-нибудь в этом роде.





ОН, МОЖНО СКАЗАТЬ, НАШ БУДУЩИЙ ПОЭТ

В ту пору, когда я был четырнадцатым по успеваемости учеником из пятнадцати в моем третьем классе, Совет попечителей Эмерсоновской школы как-то на досуге надумал обсудить наши дела.

Случилось это давным-давно.

Лет мне было около девяти или, самое большее, десяти, и характера я был на редкость покладистого.

В те дни Совет попечителей обычно не поднимал особенного шума по поводу детишек захолустного городка, и если кто-то из них казался, скажем, туповатым, то Совет считал это в порядке вещей и ничего не предпринимал.

Правда, к нам захаживали время от времени священники из пресвитерианской церкви и, вглядываясь в море ребячьих лиц, обращались к учащимся с такими словами: «Вы — будущие лидеры Америки, будущие капитаны ее индустрии, будущие государственные мужи и, можно сказать, будущие поэты». Подобные беседы неизменно доставляли мне удовольствие, потому что я любил воображать своих дружков, таких, как Джимми Вольта или

Фрэнки Суза, в роли будущих капитанов индустрии. Я знал их как облупленных.

Они здорово играли в бейсбол, но были от природы круглыми дураками, или, выражаясь более научным языком, стопроцентными кретинами — здоровыми, сильными и жизнерадостными. Представить себе, что они разовьются в капитанов индустрии, было невозможно, да они ими и не стали. Если спросили бы их самих, кем они хотят стать, они ответили бы, нисколько не покривив душой: «Не знаю. Наверно, никем».

Но вообще-то наш Попечительский Совет не питал столь возвышенных надежд относительно тех юных сорванцов, которых он стремился лишь обучить чтению и письму.



Тем не менее в один прекрасный день, как я уже говорил, Совет надумал обсудить на досуге наши дела и в результате семичасовых размышлений пришел к выводу, что необходимо подвергнуть всех учеников бесплатных средних школ тщательному медицинскому обследованию, с тем чтобы по возможности разгадать тайну воистину поразительного здоровья юных обитателей трущоб. Ведь если верить документальным данным, многократно публиковавшимся и сведенным в таблицы, то у каждого из жителей моего квартала должна была быть голова неправильной формы, впалая грудь, искривленный позвоночник и глухой голос, у каждого должна была наблюдаться вялость, расстройство нервной системы и еще шесть или семь других менее тяжелых органических дефектов.

Однако любой из учителей бесплатных средних школ знал, что у этих сорванцов головы были безукоризненно правильной формы, грудь колесом, отличная осанка и громкие голоса, и если они от чего-нибудь и страдали, то разве лишь от избытка энергии и постоянного зуда выкинуть очередной фокус.

Одним словом, что-то тут было не то.

Совет попечителей решил выяснить, в чем же тут дело. И он выяснил.

Многократно публиковавшиеся и сведенные в таблицы документальные данные оказались ошибочными.

Тогда-то как раз я и узнал впервые, с радостью и негодованием, что я — будущий поэт. Помню, как вместе с шестьюстами другими будущими государственными мужами я предстал однажды в полдень перед комиссией в актовом зале и как старенькая мисс Огилви своим ясным истеричным сопрано пропела мое имя.

Настал мой черед подняться по семнадцати ступенькам на сцену, выйти на середину, раздеться до пояса, сделать вдох-выдох и дать себя обмерить с ног до головы.

На какой-то момент я растерялся, не зная, что делать, но тут же во мне родилось неодолимое желание показать им, на что я способен, и я так и поступил, к смятению и ужасу всего Попечительского Совета, трех престарелых

докторов, полудюжины медицинских сестер и шестисот будущих капитанов индустрии.

Вместо того, чтобы подняться по семнадцати ступенькам, я взял и прыгнул на сцену.

Помню, что старенькая мисс Огилви, обернувшись к школьному инспектору м-ру Рикенбекеру, с опаской прошептала: «Это Гароглания. Он, можно сказать, наш будущий поэт».

М-р Рикенбекер бросил на меня быстрый взгляд и сказал:

— Вижу. А на кого он так зол?

— На общество, — сказала мисс Огилви.

— Я тоже зол на общество, — сказал м-р Рикенбекер. — Но бьюсь об заклад, что прыгнуть так не смогу. И хватит об этом.

Тем временем я скинул рубаху и предстал перед комиссией по пояс голый, с темнеющими на груди волосами.

— Видите? — сказала мисс Огилви. — Писатель.

— Вдыхай, — сказал м-р Рикенбекер.

— Сколько времени? — спросил я.

— Сколько выдержишь, — сказал м-р Рикенбекер.

Я начал вдох. Прошло четыре минуты, а я все еще вдыхал. Члены комиссии, естественно, были несколько озадачены. Они даже устроили небольшое совещание, пока я продолжал вдыхать. После двухминутных дебатов было принято решение просить меня остановиться. Мисс Огилви объяснила, что если они не попросят меня об этом, то скорей всего я буду вдыхать до вечера.

— На сегодня хватит, — сказал м-р Рикенбекер.

— Уже? — сказал я. — Но я еще и не начинал.

— Теперь выдыхай, — сказал он.

— Сколько времени? — спросил я.

— Господи! — только и промолвил м-р Рикенбекер.

— Лучше ответьте ему, — сказала мисс Огилви, — а то он будет выдыхать до вечера.

— Три-четыре минуты, — сказал м-р Рикенбекер.

Я выдыхал четыре, пока меня не попросили одеться и уходить.

— Ну, как? — спросил я у комиссии. — Все в порядке?

— Не будем больше об этом, — сказал м-р Рикенберкер. — Пожалуйста, уходи.

На следующий год наш Попечительский Совет окончательно решил не прибегать больше к медицинским обследованиям. Все было хорошо, пока обследованию подвергали будущих капитанов индустрии и будущих государственных мужей, но когда настала очередь будущих поэтов, дело пошло вкривь и вкось, все потеряли голову, и никто уже не знал, ни что делать дальше, ни что обо всем этом думать.





ПАРИКМАХЕР, У ДЯДИ КОТОРОГО ДРЕССИРОВАННЫЙ ТИГР ОТГРЫЗ ГОЛОВУ

Мисс Гамма говорила, что мне нужно постричься; мама говорила, что мне нужно постричься; мой брат Григор говорил, что мне нужно постричься.

Все говорили:

— Когда ты наконец пострижешься?

Был в нашем городе очень крупный торговец виноградом по имени Хентингтон, который каждый день покупал у меня вечернюю газету. Это был человек двухсот сорока фунтов весом, у него было два «кадиллака», шестьсот акров земли под виноградом аликанте, больше миллиона долларов в банке, а голова у него была маленькая, совсем лысая. Он посылал людей с железнодорожных складов за шесть кварталов взглянуть на мою голову.

— Ай да Калифорния, что и говорить! — кричал он часто на всю улицу. — Вот где климат, вот где здоровье! Боже мой, что за волосы!

Мисс Гамма очень резко высказывалась о моей голове.

— Я не называю имен, — говорила она, — но если один молодой человек из нашего класса не сходит в парикма-

херскую в ближайшие дни, его переведут в исправительную школу.

Имен она не называла, только при этом смотрела на меня.

— Это что за фантазия? — сказал мой брат Грикор.

— А ты помнишь Самсона? — говорю я. — Помнишь, как он разъярился, когда его остригли?

— Это совсем другое дело, — сказал Грикор. — Ты не Самсон.

— Ах, нет? — говорю. — А ты почему знаешь? Откуда тебе известно?

Однажды я спал на траве под ореховым деревом в нашем дворе. С дерева слетел на траву воробей и, прочирив мне что-то в самое ухо, разбудил меня. Стоял теплый зимний день, и весь мир спал. Повсюду было тихо. Никто никуда не спешил. Вокруг царил одно только радостное безмолвие. Ах, господи, до чего хорошо было жить! Как хорошо, когда на свете есть у вас маленький домик с большой верандой для долгих летних дней и вечеров. Комнаты со стульями, столами и кроватями. Пианино. Печка. Картинки из воскресного журнала на стенах. Хорошо жить на свете!

Я был так доволен всем окружающим, что стал мечтать о разных местах, которых никогда не видел. Волшебные города мира: Нью-Йорк, Лондон, Париж, Берлин, Вена, Константинополь, Рим, Каир. Улицы, дома, люди. Окна и двери. Поезда, корабли в море. Самые яркие мгновения всех времен. Это было в 1919 году, и мне привиделся сон, будто все живое живет бесконечно. Мне снилось, что упадку и смерти пришел конец.

Тут с дерева слетел воробей и разбудил меня.

Я открыл глаза, но не пошевелился.

Никогда прежде я не слышал щебета птицы так ясно. То, что я услышал, показалось мне новым и удивительным, но в то же время простым и старым, как мир.казалось, я слышу: «Плачь, плачь, плачь!» Но эту печальную песню птичка моя исполняла самым жизнерадостным тоном. Ни звука перед тем не было слышно во всем мире, и

вдруг я вострепнулся от выразительного щебета воробья. На мгновение, пока я еще был в полусне, все это показалось мне вполне естественным: птица, говорящая со мной, и поразительное несоответствие между смыслом и тоном песни. С одной стороны — печаль, с другой — радость.

Я вскочил на ноги, и воробей в страшном испуге упорхнул. Что до меня, то я почувствовал себя так хорошо, что решил сходить наконец к парикмахеру.

Был на Марипоза-стрит один парикмахер, армянин по имени Арам. Большую часть времени он занимался тем, что читал «Аспарез» и другие армянские газеты, крутил папироски, курил и поглядывал на прохожих. Ни разу я не видел, чтобы он кого-нибудь стриг или брил, хотя, вероятно, кто-нибудь и заходил к нему по ошибке, по простоте душевной.

Я отправился в парикмахерскую Арама на Марипоза-стрит и застал его сидящим за столом с армянской книжкой в руках.

— Можете вы постричь меня? — спросил я по-армянски. — У меня есть двадцать пять центов.

— А, — сказал он, — рад вас видеть. Как вас зовут? Присядьте. Я сварю сперва кофе. Превосходная шапка волос у вас на голове.

— Все говорят, что мне нужно постричься, — сказал я.

— Вот так они всегда, эти люди, — сказал он. — Вечно указывают, что вам нужно делать. А что в том худого, если волосы? Ну зачем им соваться? Деньги, твердят, зарабатывать. Ферму покупай. То то, то другое. Нет чтобы оставить человека в покое!

— Так как же? — спросил я. — Можете вы постричь меня наголо, чтоб об этом и разговора больше не было?

— Кофе, — сказал парикмахер. — Выпьем сперва по глоточку кофе.

В заднем помещении у него была небольшая газовая плита, водопроводный кран и раковина, полка с кофейными чашечками, блюдецками и ложечками, ключ для консервных банок и всякая всячина.

Он принес мне чашечку кофе, и я удивился, как это я раньше никогда к нему не заходил, к самому, может быть, интересному человеку в городе. Ему было лет пятьдесят, а мне одиннадцать. Ростом он был не больше меня, да и весом не больше, а лицо у него было как у человека, который много испытал, много знает, но не перестал любить людей, не озлобился.

Его взгляд, казалось, говорил: «Мир? Я знаю все о нашем земном мире. Злоба и скупость, ненависть и страх, порочность и гниль. Пусть так, но я его люблю, каков он есть».

Я поднес чашечку ко рту и отхлебнул горячей черной жидкости. Это было вкуснее всего, что я когда-либо пробовал.

— Садитесь же, — сказал он по-армянски. — Спешить нам некуда. С делом успеется. Волосы ваши за какой-нибудь час длиннее не станут.

Я сел, и он стал рассказывать мне о том о сем.

Он рассказал мне про своего дядю Мисака родом из Муша.

Мы выпили кофе, потом я сел в кресло, и он стал меня стричь. Остриг он меня из рук вон плохо, гораздо хуже, чем меня стригли бесплатно в школе парикмахеров за железной дорогой. Но он рассказал мне про своего бедного дядю Мисака, а ни один из учеников-парикмахеров за железной дорогой не мог бы выдумать такого рассказа. Да и все они вместе взятые не в состоянии были бы это сделать. Я ушел из его парикмахерской очень плохо постриженный, но мне было все равно. Да он и не был вовсе парикмахером. Он только делал вид, что занимается стрижкой и бритьем, чтобы жена его не слишком к нему приставала. Он занимался этим только затем, чтобы удовлетворить общественное мнение. Все, что ему было нужно, это почитать книжку да поболтать с приличными людьми.

— Мой бедный дядя Мисак, — сказал парикмахер, — родился много лет назад в Муше. Парень он был необузданный, но разбойником не был. Он буйствовал только против тех, кто воображал себя силачом. Он мог побо-

рот, один против двоих, любых парней в городе, да если нужно — с их папашами и мамашами в придачу.

Ну, все говорили моему бедному дяде Мисаку: «Мисак, ты очень сильный. Почему бы тебе не стать борцом и не зарабатывать деньги?»

И вот он стал борцом. Ему не исполнилось еще и двадцати лет, а он уже поломал кости восемнадцати противникам. Деньги он проедал, пропивал, а что оставалось — раздавал детям. Не хотел он денег, не любил их.



— Да, — сказал парикмахер, — это было давно. Теперь каждому подавай только деньги. Ему говорили, что когда-нибудь он о деньгах пожалеет, и, конечно, люди были правы. Ему говорили, чтобы он берег свои деньги, потому

что когда-нибудь он потеряет силу и не сможет бороться и не станет у него ни гроша. И вот такой день пришел. Стукнуло дяде Мисаку сорок лет, потерял он свою силу, и денег у него не стало. Над ним все смеялись, и он ушел из дому.

Уехал в Константинополь, а из Константинополя в Вену.

— В Вену? — сказал я. — Ваш дядя Мисак был в Вене?

— Ну да, конечно, — сказал парикмахер. — Мой бедный дядя Мисак побывал во многих местах. В Вене он не нашел работы и поехал в Берлин. Ах, вот это так город! Ну что за город Берлин! Там мой бедный дядя Мисак тоже не нашел работы.

Парикмахер стриг меня кое-как. Я видел черные волосы на полу и чувствовал, что голове моей все холоднее и холоднее и что становится она все меньше и меньше.

— Да, Берлин, — сказал парикмахер. — Самый жестокий город в мире. Полным полно улиц, домов, людей, но ни одна дверь не открылась перед бедным дядей Мисаком — ни комнаты у него, ни стола, ни друга. То же самое и в Париже, — продолжал парикмахер. — И в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Южной Америке. Всюду одно и то же — улицы, дома и двери, но нигде не нашлось местечка для моего бедного дяди Мисака.

— В Китае, — рассказывал парикмахер, — дядя Мисак повстречал одного араба, который работал клоуном во французском цирке. Клоун-араб и мой дядя Мисак разговорились между собой по-турецки.

Клоун сказал: «Братец, а вы любите людей и животных?»

И мой дядя Мисак сказал: «Братец, я люблю всякое творение божье под сводом небесным».

Клоун сказал: «Братец, а можете вы полюбить свирепого тигра джунглей?»

И мой дядя Мисак сказал: «Братец, любовь моя к свирепым тиграм джунглей беспредельна».

Клоун-араб был очень рад услышать, что мой дядя любит диких зверей джунглей, так как он тоже был храбрый человек.

«Братец, — сказал он моему дяде, — можете ли вы полюбить тигра настолько, чтобы положить ему в разверстую пасть свою голову?»

И дядя Мисак сказал: «Да, братец, могу».

Клоун-араб сказал: «Хотите поступить к нам в цирк? Вчера наш тигр недостаточно осторожно сомкнул свои челюсти вокруг головы бедного Симона Перигора, и теперь у нас нет никого, кто бы так сильно любил творения вездесущего бога».

Мой бедный дядя Мисак был утомлен земной жизнью. Он сказал: «Братец, я согласен поступить к вам в цирк и класть свою голову в разверстую пасть святого божьего тигра хоть десять раз в день».

«В этом нет необходимости, — сказал клоун-араб, — двух раз в день совершенно достаточно».

Так бедный дядя Мисак поступил в Китае во французский цирк и стал класть свою голову в разверстую пасть тигра.

— Цирк, — рассказывал парикмахер, — переезжал из Китая в Индию, из Индии в Афганистан, из Афганистана в Персию, и здесь, в Персии, все и случилось. Тигр и мой бедный дядя Мисак давно уже стали добрыми друзьями. В Тегеране, в этом древнем, пришедшем в упадок городе тигр взбесился. Жара стояла страшная, все были злые. Тигр рассвирепел и метался в клетке с утра и до вечера.

Вечером мой бедный дядя Мисак положил, как всегда, свою голову в разверстую пасть тигра. Он уже собирался вынуть ее обратно, когда тигр, полный злобы ко всему живому, с хрустом сомкнул свои челюсти...

Я поднялся с кресла. Волосы мои были острижены наголо. Я заплатил парикмахеру двадцать пять центов и пошел домой. Все надо мной смеялись. Мой брат Григор сказал, что он никогда еще не видел такой замечательной стрижки.

Впрочем, все было в полном порядке.

Я с нетерпением ожидал того дня, когда мне опять нужно будет постричься, чтобы пойти в парикмахерскую к Араму и послушать его рассказ о человеке на земле, потерянном и одиноком, всегда в опасности; грустный рассказ о его бедном дяде Мисаке; грустный рассказ о всяком живом человеке.



ГРАНАТОВАЯ РОЩА

Мой дядя Мелик был, пожалуй, самым незадачливым фермером на свете. Он был слишком большой мечтатель и поэт, чтобы думать о своей выгоде. Красота — вот к чему он стремился. Он хотел бы сажать красоту, как цветы, и любоваться ее ростом. В добрые старые дни поэзии и юности я сам однажды посадил для него больше сотни гранатовых деревьев. Я водил тогда трактор «Джон Дир», и дядя мой тоже. Все это была чистая эстетика, а не сельское хозяйство. Моего дядю увлекала сама идея сажать деревья и любоваться их ростом.

Только они не хотели расти. Из-за почвы. Почва эта была почвой пустыни. Она была безводна. Дядя мой простирал руку в сторону шестисот сорока акров купленной им пустыни и приговаривал на самом поэтическом армянском языке, который вы когда-либо слышали:

— Здесь, в этом ужасном запустении, расцветет сад, прохладные ключи забьют из земли, и все творения красоты обретут бытие.

— Да, сэр, — отвечал я.

Я был его первым и единственным родственником, которому довелось увидеть купленную им землю. Он знал,

что я поэт в душе, и надеялся, что я пойму его великолепный порыв, который увлекал его к блистательному разорению. И я его понял. Я знал не хуже его, что земля, которую он приобрел, была никчемной, бесплодной пустыней. Гиблое место у черта на куличках, у подножия гор Сьерра-Невада. Все виды колючих растений пустыни торчали из сухой, горячей земли. Повсюду кишели луговые собачки, сурки, рогатые жабы, змеи и прочая мелкая тварь. Небо над этой землей посещали только орлы, сарычи да ястребы. Это было царство пустоты, безлюдья, истины и величия. Это была природа в самом ее гордом, самом суровом и сухом проявлении.

Мы с дядей вышли из «форда» посреди его владений и стали прохаживаться по безводной пустыне.

— Эта земля, — сказал он, — моя земля.

Он шел медленно, ковыряя сухую почву носками ботинок. Рогатая жаба выползла на поверхность прямо у него из-под ног. Дядя стиснул мне плечо и замер в благоговейной неподвижности.

— Что это за животное?

— Эта крохотная ящерица?

— Эта мышь с рождками. Что это такое?

— Не знаю, наверное. Мы их зовем рогатыми жабами.

Рогатая жаба остановилась в трех шагах от нас и повернула к нам голову. Мой дядя кинул на нее быстрый взгляд.

— Она не ядовитая? — сказал он.

— Если ее съесть? Или если укусит?

— В том и другом случае, — говорит дядя.

— По-моему, они несъедобные, — говорю я. — Но, кажется, безвредные. Я их много ловил. В неволе они тоскуют, но не кусаются. Поймать ее?

— Пожалуйста, — говорит дядя.

Я подкрался и схватил рогатую жабу, а дядя за мной наблюдал.

— Осторожно, — сказал он. — Ты уверен, что она не ядовитая?

— Я их много ловил, — сказал я.

Я протянул рогатую жабу дяде. Он старался показать, что ни чуточку не боится.

— Прелестная крошка, правда? — сказал он не совсем твердым голосом.

— Хотите ее поддержать?

— Нет, — сказал дядя. — Лучше ты сам. Я никогда так близко не видел этих зверушек. Гляди-ка, да у нее есть глаза! Она, наверно, нас видит.

— Конечно, — говорю я. — Она смотрит прямо на вас.

Мой дядя посмотрел в глаза рогатой жабе. Рогатая жаба посмотрела в глаза моему дяде. Добрых полминуты смотрели они прямо в глаза друг другу, потом рогатая жаба отвернулась и опустила глаза. Дядя вздохнул с облегчением.

— Тысяча таких, — сказал он, — могли бы, наверно, убить человека.

— Они стадами не водятся. Вряд ли вы увидите больше одной сразу.

— Большая жаба, наверно, может загрызть человека до смерти.

— Они не растут большие. Больше такой, как эта, они не бывают.

— Какие огромные глаза для такого маленького создания. Ты уверен, что они не сердятся, когда их хватают руками?

— Они, наверно, сейчас же забывают об этом, как только их отпустишь.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Да, вряд ли у них хорошая память.

Дядя выпрямился и глубоко вздохнул.

— Отпусти ее с миром, — сказал он. — Не надо быть жестоким с невинными тварями божьими. Раз она не ядовитая и не злопамятна, ростом не бывает больше мыши и не собирается в стада, отпусти эту робкую крошку на землю. Будем добры ко всем зверушкам, которые живут на земле вместе с нами.

— Хорошо, сэр.

Я опустил рогатую жабу на землю.

— Осторожнее, — сказал дядя. — Пусть ничто не тревожит этих поселенцев на моей земле.

Рогатая жаба заковыляла прочь.

— Эти зверьки, — сказал я, — живут на таких землях веками.

— Веками? — сказал дядя. — Ты уверен?

— Не то чтобы уверен, но думаю, что так. Во всяком случае, они все еще здесь.

Мой дядя поглядел на свою землю, на кактусы и колючие заросли, на небо над головой.







— Да чем же они тут питались все время?
— Не знаю, — говорю.
— А как ты думаешь?
— Насекомыми, наверно.
— Насекомыми? — вскричал дядя. — Какими еще насекомыми?

— Жучками какими-нибудь, откуда я знаю. Мало ли как они там называются. Я могу спросить завтра в школе.

Мы продолжали шагать по безводной пустыне. Когда нам стали попадаться какие-то ямки в земле, дядя остановился и сказал:

— Кто это там живет?
— Луговые собачки.
— А что это такое?
— Ну, — говорю я, — это что-то вроде крысы. Они принадлежат к отряду грызунов.

— Что делают все эти твари на моей земле? — говорит дядя.

— Да они ведь не знают, что это ваша земля. Живут себе здесь с давних пор.

— Не думаю, чтобы эта рогатая жаба когда-нибудь раньше смотрела в глаза человеку.

— Да, едва ли.
— Как по-твоему, я ее напугал?
— Наверно не знаю.
— Если и напугал, то не намеренно. Знаешь, я собираюсь выстроить здесь дом.

— Вот как!
— Непременно, — говорит дядя. — Великолепный дом.
— Далековато немножко.
— Всего лишь час езды от города.
— Если делать пятьдесят миль в час.
— Тут нет пятидесяти миль до города. Всего тридцать семь.

— Ну, придется накинуть немного лишку на плохие дороги.

— Я построю себе чудеснейший дом, — говорит дядя. — А кто еще живет на этой земле?

— Ну, тут еще водятся три или четыре вида змей.

— Ядовитых?

— Большой частью нет. Хотя вот, скажем, гремучая змея...

— Да ты что? Неужели тут водятся гремучие змеи?

— Вот на такой земле они обычно и водятся.

— И много их тут? А?

— В среднем на акр? Или на все шестьсот сорок акров?

— В среднем на акр.

— Ну, пожалуй, штуки три на акр наберется. По скромному подсчету.

— Три на акр? По скромному подсчету?

— Ну, может быть, две.

— Сколько же это выйдет на весь участок?

— Сейчас поглядим. Две на акр. Шестьсот сорок акров. Приблизительно полторы тысячи.

— Полторы тысячи гремучих змей?

— Акр тоже штука изрядная. Две гремучие змеи на акр — это не так уж много. Они не часто будут вам попадаться.

— А что тут еще есть у нас ядовитого?

— Да больше, кажется, ничего. Все остальные зверюшки безвредные. Да и гремучие змеи тоже не так уж опасны, если на них не наступишь.

— Ладно, — сказал дядя. — Ступай вперед да хорошенько смотри под ноги! Увидишь змею — гляди не наступи на нее. Я вовсе не хочу, чтобы ты погиб одиннадцати лет от роду.

— Хорошо, сэр. Я буду смотреть внимательно.

Мы повернулись и пошли назад к «Форду». Ни одной змеи я на обратном пути не увидел. Мы сели в машину, и дядя закурил сигарету.

— Из этой унылой пустыни я сделаю сад.

— Да, сэр.

— Я знаю, какие передо мной трудности, и знаю, как их преодолеть.

— Как?

— Ты, конечно, думаешь о рогатых жабах или гремучих змеях?

- Я думаю о трудностях.
- Первым делом найму несколько мексиканцев, чтобы они поработали тут как следует.
- А что они будут делать?
- Сначала расчистят целину. Потом поищут воду и выкопают мне колодец.
- Где выкопают?
- Прямо в земле, — сказал дядя. — Когда у нас будет вода, я велю им вспахать землю и приступим к посадке.
- А что вы будете растить? Пшеницу?
- Пшеницу? — вскричал дядя. — На что мне пшеница? Хлеб стоит пять центов булка. Я посажу гранатовые деревья.
- А почему идут гранаты?
- Трудно сказать. Гранаты фактически не известны в этих краях. Может, по десять, пятнадцать, а то и двадцать центов штука.
- А что еще вы думаете сажать?
- Я задумал посадить много разных деревьев.
- Персики?
- Да, акров десять.
- А как насчет абрикосов?
- О, еще бы! Прелестнейший фрукт — абрикос. Изящной формы, чудесного вкуса и с восхитительной косточкой. Акрів двадцать я засажу абрикосами.
- Не пришлось бы только мексиканцам повозиться с водой. Найдется она тут под землей?
- Конечно, найдется, — сказал дядя. — Важно начать. Я предупрежу рабочих, чтобы они остерегались гремучих змей. Гранаты, — повторил он. — Персики. Абрикосы. Что бы такое еще?
- Инжир?
- Тридцать акров инжира.
- А как насчет тутовых ягод? Шелковица — очень красивое дерево.
- Тутовые ягоды, — сказал дядя. Он прищелкнул языком от удовольствия. — Красивое дерево, что и говорить. Дерево, которое я хорошо знал на родине. Сколько бы

акров ты предложил?

— Акров десять.

— Отлично. Что еще?

— Оливы вот тоже красивые.

— О да, конечно. Десять акров олив. Еще?

— Ну, яблони вряд ли станут расти на такой земле.

— Не станут. Да я все равно не люблю яблук.

Он включил мотор, и мы пустились по сухой целине к такой же сухой дороге. Машина слегка подпрыгивала, пока мы не достигли дороги, а там мы поехали побыстрее.

— Вот еще что, — сказал дядя. — Когда мы приедем домой, ничего не говори об этой ферме нашим.

— Хорошо, сэр.

«Ферма? — подумал я. — Какая ферма?»

— Пусть это будет для них сюрпризом. Ты ведь знаешь, какова твоя бабушка. Я лучше сначала сделаю все, как задумал, а когда все будет готово, привезу на ферму всю семью и преподнесу им сюрприз.

— Хорошо, сэр.

— Ни одной душе ни слова.

— Хорошо, сэр.

Так вот, пришло время, и мексиканцы стали расчищать целину. За два месяца они расчистили что-то около десяти акров. Было их семеро. Работали они лопатами и мотыгами. Зачем их заставляли это делать, они понятия не имели. Все это им казалось очень странным, но они не роптали. Деньги им платили, а остальное их не касалось. Это были двое братьев со своими сыновьями. Однажды старший брат, Диего, очень вежливо спросил моего дядю, чем они тут, собственно говоря, занимаются.

— Сеньор, — сказал он, — простите, пожалуйста, зачем мы корчем эти кусты?

— Я буду возделывать эту землю, — сказал мой дядя.

Другой мексиканец спросил Диего по-мексикански, что сказал дядя, и Диего ему объяснил.

Они решили, что не стоит беспокоиться и говорить моему дяде, что у него из этого ничего не выйдет. Они спокойно продолжали корчевать кактусы.

Однако кактусы недолго оставались поверженными. На расчищенном месте буйно прорастали свежие колючие побеги. Дядю это прямо поразило.

— Чтобы избавиться от кактусов, — сказал я, — необходима глубокая вспашка. Нужно пропахать весь участок вчистую.

Дядя обсудил это дело с Райеном, который торговал сельскохозяйственными орудиями. Райен посоветовал дяде не возиться с лошадьми, а поступить по-современному: пускай по участку пройдет трактор — он сделает годовую работу за один день.

И дядя мой купил трактор «Джон Дир». Это была великолепная машина. Механик от Райена научил Диего обращаться с трактором, и в следующий раз, когда мы с дядей приехали на участок, мы увидели вдаль одинокий трактор — он тарахтел в беспредельном безмолвии пустыни. Это производило ужасное впечатление. Да и в самом деле было ужасно. Дядя мой нашел, что это просто чудесно.

— Прогресс, — сказал он. — Новый век наступил. Десять тысяч лет назад понадобилась бы сотня человек на целую неделю, а трактор сделал их работу за один день.

— Десять тысяч лет назад? Вы, верно, хотите сказать, вчера.

— А хоть бы и так, — сказал дядя. — Современные удобства все равно ни с чем не сравнить.

— Трактор — какое же это удобство?

— А что же это, по-твоему? Разве водитель не сидит?

— Попробуй на нем устоять, — говорю я.

— Раз вам есть где сидеть, — сказал дядя, — это уже удобство. Свистеть ты умеешь?

— Да, сэр. Какой мотив вы хотите послушать?

— Не нужно мне никаких мотивов. Я хочу, чтобы ты посвистел этому мексиканцу на тракторе.

— Зачем?

— Да просто свистни. Пусть он узнает, что мы здесь и что мы довольны его работой. Он, должно быть, вспахал уже акров двадцать.

— Хорошо, сэр.

Я вложил в рот второй и третий пальцы обеих рук и засвистел изо всей силы. Вышло здорово громко. Но Диего, видно, не услышал. Он был довольно далеко. Но мы ведь сами шли по направлению к нему, и я не мог понять, зачем дяде так нужно, чтобы я свистел.

— Еще раз, — сказал он.

Я свистнул еще раз, но Диего не слышал.

— Громче, пожалуйста.

На этот раз я чуть не лопнул от натуги, а дядя заткнул пальцами уши. И мексиканец на тракторе услышал. Он сбавил скорость, развернулся и пошел пахать поле прямо по направлению к нам.

— Вы этого хотели от него? — спросил я.

— Ладно, все равно, — сказал дядя.

За каких-нибудь полторы минуты трактор подкатил к нам. Мексиканец казался очень довольным. Он вытер грязь и пот с лица и сошел с трактора.

— Сеньор, — сказал он, — это чудесная штука.

— Я рад, что вам нравится, — сказал дядя.

— Не хотите ли прокатиться? — спросил мексиканец.

Дядя не знал, что ответить. Он поглядел на меня.

— Валяй сперва ты. Покатайся немножко.

Диего влез на трактор и помог мне вскарабкаться. Он сел на металлическое сиденье, а я стал сзади и ухватил его за плечи. Трактор затрясся, подпрыгнул и двинулся с места. Он шел быстро и здорово шумел. Мексиканец сделал по полю большой круг и подвел трактор обратно к дяде. Я соскочил.

— Ладно, — сказал дядя мексиканцу. — Продолжайте свою работу.

И мексиканец повел трактор обратно к тому месту, где он пахал перед тем.

Воду из земли дяде удалось добыть только много месяцев спустя. Много скважин пробурили по всему участку, но вода на поверхность не подымалась. Были, конечно, у дяди и механические насосы, но вода все-таки не шла. Из Техаса прибыл водный специалист, по фамилии Рой, с двумя младшими братьями, и они принялись исследовать

землю. Они сказали дяде, что добудут для него воду. У них ушло на это три месяца, вода была мутная, да и той было немного. Специалист сказал дяде, что со временем дело пойдет на лад, и уехал обратно в Техас.

Теперь половина земли была очищена и вспахана, и вода у нас была, так что настало время посадки.

Мы стали сажать гранатовые деревья. Они были самого высокого качества и очень дорогие. Мы посадили их штук семьсот. Сам я посадил сотню, дядя тоже порядочно. У нас образовалась двадцатиакровая гранатовая роща у черта на куличках — посреди совершенно дикой пустыни. Это была самая очаровательная нелепость, которую только можно себе вообразить, и дядя был без ума от нее. Беда только, что деньги у дяди подходили к концу. И вот, вместо того, чтобы продолжать дело и засадить фруктовыми деревьями все шестьсот сорок акров решил посвятить все свои усилия, время и деньги одной гранатовой роще.

— Это только на первое время, — говорил он. — Пока мы не начнем торговать гранатами и не выручим наши деньги обратно.

— Разумеется, сэр, — поддакивал я.

Я не был уверен, но мне почему-то казалось, что никаких годных плодов с этих маленьких деревьев мы не получим по крайней мере в течение двух или трех лет, однако я ничего не сказал.

Рабочих-мексиканцев дядя рассчитал, и мы с ним взялись за хозяйство сами. У нас был трактор и участок земли, поэтому время от времени мы ездили на плантацию, гоняли трактор, выпаживали кактусы и взрыхляли почву между гранатовыми деревьями. Так продолжалось три года.

— Скоро уже, — говорил дядя, — на месте этой пустыни ты увидишь чудеснейший в мире сад.

Положение с водой, однако, все не улучшалось. Изредка начинала вдруг бить сильная, щедрая струя, в которой было совсем мало камешков, и дядя очень радовался, но на следующий день вода шла опять мутная, сла-

бенькой струйкой. Гранатовые деревья храбро боролись за жизнь, но все не получали достаточно влаги, чтобы принести плоды.

Зацвели они только на четвертый год. Для дяди это было большим торжеством. Он совсем потерял рассудок от радости, когда увидел деревья в цвету.

Но ничего путного из этих цветов не вышло. Они были очень красивые, но и только. Редкие пурпурные цветы.

В тот год дядя снял урожай в три маленьких граната.

Один съел я, другой съел он, а третий мы выставили на самом виду у него в конторе.

На следующий год мне исполнилось пятнадцать лет. Много чудесных вещей случилось со мной за это время. Так, я прочел много хороших книг и ростом стал с моего дядю. Ферма все еще оставалась нашей тайной. Она стоила дяде кучу денег, но он по-прежнему не терял надежды, что очень скоро начнет торговать гранатами, вернет свои деньги и осуществит свой план создания сада в пустыне.

Деревица развивались неважно. Они немножко подросли, но это было едва заметно. Многие из них завяли и погибли.

— Это нормально, — говорил дядя. — Двадцать деревьев на акр — это потеря нормальная.

Новых мы пока не будем сажать. Сделаем это позже.

Помимо всего, он еще выплачивал деньги за землю.

На следующий год он снял со своего сада штук двести гранатов. Собирали урожай мы с ним вдвоем. Гранаты эти выглядели довольно жалко. Мы упаковали их в красивые ящики, и дядя отправил товар одному оптовому торговому дому в Чикаго. Всех ящиков было одиннадцать.

Целый месяц мы не получали от торгового дома никакого ответа, и вот однажды ночью дядя заказал междугородный телефонный разговор. Оптовый торговец д'Агостино сказал дяде, что гранатов никто не берет.

— Почему вы спрашиваете за ящик? — кричал в телефон дядя.

— Один доллар, — кричал в ответ д'Агостино.

— Это мало, — вскричал дядя. — Я хочу пять долларов за ящик, и ни цента меньше.

— Их не берут и по доллару за ящик, — кричал д'Агостино.

— Почему не берут? — кричал дядя.

— Люди не знают, что это такое, — кричал д'Агостино.

— Что же вы за делец в таком случае? — кричал дядя. — Это гранаты. Я хочу по пять долларов за ящик.

— Я не могу их продать, — кричал торговец. — Я сам съел один гранат и не нахожу в них ничего замечательного.

— Вы с ума сошли, — кричал дядя. — Нет во всем мире других таких фруктов, как гранаты. — Пять долларов ящик — да это ведь даром.

— А что с ними прикажете делать? — кричал д'Агостино. — Я не могу их продать. Они мне ни к чему.

— Понимаю, — просипел дядя. — Отправьте их обратно срочным грузом.

Телефонный вызов стоил дяде семнадцать долларов.

Итак, одиннадцать ящиков вернулись обратно.

Почти все гранаты мы с дядей съели сами.

На следующий год дядя не мог уже больше платить за землю. Он вернул бумагу человеку, который продал ему участок. Я был в это время в конторе.

— Мистер Гриффит, — сказал дядя. — Я вынужден вернуть вам вашу собственность, но хочу попросить вас об одном одолжении. Двадцать акров я засадил гранатовыми деревьями и был бы вам очень признателен, если бы вы позволили мне приглядывать за ними.

— Приглядывать за ними? — сказал мистер Гриффит. — Чего ради?

Дядя пытался ему объяснить, но не мог. Слишком трудно что-нибудь втолковать человеку, если он вам не сочувствует.

И вот дядя потерял и землю, и деревья.

Года три спустя мы с дядей съездили туда на машине и прошли в гранатовую рощу. Все деревья погибли. Почва

снова заросла кактусами и колючими кустарниками. Если не считать маленьких мертвых гранатовых деревьев, все здесь было в точности так, как всегда, с первых дней сотворения мира.

Мы прошлись по гранатовой роще и вернулись к машине.

Сели в машину и поехали обратно в город.

Мы ничего не сказали друг другу, потому что у нас было слишком много что сказать, но слов для этого не было.





ПЕВЧИЕ ПРЕСВИТЕРИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

Прелюбопытная вещь в нашей стране — эта легкость, с которой мои добрые соотечественники переходят из одного вероисповедания в другое или, не исповедуя никакой определенной религии, принимают первую попавшуюся, от чего им не делается ни хуже, ни лучше и остаются они в полном неведении.

Вот я, например, родился католиком, но не был крещен до тринадцати лет. Это ужасно возмутило священника, и он спросил моих родичей, да в своем ли они уме; на что мои родичи ответили: «Да нас же тут не было».

— Тринадцать лет и не крещен! — воскликнул священник. — Ну что вы за люди после этого?

— Мы, — отвечал дядя Мелик, — большей частью земледельцы, хотя среди нас и попадаются люди весьма выдающиеся.

Дело совершилось в субботу после полудня. Все заняло не больше пяти минут, и как я ни старался, а после крещения не чувствовал в себе никакой перемены.

— Ну, — сказала бабушка, — теперь ты крещеный. Как тебе, лучше стало?

Надо сказать, что еще за несколько месяцев до крещения я стал чувствовать себя поумневшим, и бабушка заподозрила, не заболел ли я какой-нибудь таинственной болезнью или, может быть, повредился разумом.

— Кажется, я чувствую себя по-прежнему, — сказал я.

— Веруешь ты теперь? — спросила бабушка. — Или все еще сомневаешься?

— Мне ничего не стоит сказать, что я верую, — отвечал я. — Но, по правде говоря, я и сам не знаю. Конечно, я хочу быть христианином.

— Вот веруй и будешь им, — сказала бабушка. — Ну, а теперь иди, займись своим делом.

Дело у меня было довольно странное и, я бы даже сказал, невероятное.

Я пел в хоре мальчиков в пресвитерианской церкви на Туларе-стрит. За это я получал доллар в неделю от одной престарелой христианской леди по фамилии Балеифол, которая жила в строгости и уединении в маленьком, заросшем плющом домике рядом с домом, где жил мой друг Пандро Колхазян.

Этот мальчик, как и я, был боек на язык. Иначе говоря, мы изрядно чертыхались и богохульствовали — конечно, по поведению — и причиняли этим мисс или миссис Балеифол столько горя, что она решила спасти нас, пока не поздно. Против спасения мне лично возражать не приходилось.

Мисс Балеифол (отныне я буду называть ее мисс, так как в то время, когда мы познакомились, она была, несомненно, одинокой, и я не знаю наверное, была ли она когда-нибудь замужем, думала ли вообще о замужестве и была ли когда-нибудь влюблена — в более раннем возрасте, разумеется, и, конечно, в какого-нибудь негодяя, который не принимал этого дела всерьез), — мисс Балеифол, говорю я, была женщиной образованной, читала стихи Роберта Броунинга и других поэтов и отличалась большой чувствительностью, так что, выйдя однажды на крылечко послушать, как мы разговариваем, не могла долго выдержать и воскликнула: «Мальчики, мальчики! Не произносите богомерзких слов!»

Пандро Колхазян был, с одной стороны, казалось бы, самый неотесанный мальчишка на свете, а с другой стороны — самый понятливый и учтивый, и вот за это-то качество я его и любил.

— Хорошо, мисс Балеифум, — сказал он.

— Балеифол, — поправила его леди. — Пожалуйста, подойдите ко мне. Оба.

Мы подошли к мисс Балеифол и спросили, что ей нужно.

— Что вам угодно, мисс Балеифум? — сказал Пандро.

Мисс Балеифол сунула руку в карман пальто, вытащила пачку книжечек и, не глядя, протянула каждому из нас по одной. Моя книжечка называлась «Искупление, история одного пьяницы», а книжечка Пандро — «Обретенный покой, история одного пьяницы».

— Что с этим делать? — спросил Пандро.

— Я хочу, мальчики, чтобы вы прочли эти книжки и постарались исправиться, — сказала мисс Балеифол. — Я хочу, чтобы вы перестали богохульствовать.

— Здесь ничего не говорится о богохульстве, — сказал Пандро.

— В этих книжках содержится хороший урок для каждого из вас, — сказала леди. — Прочтите их и больше не богохульствуйте.

— Хорошо, мэм, — сказал я. — Это все?

— Нет, еще одно, — сказала мисс Балеифол. — Не можете ли вы мальчики, помочь мне передвинуть фисгармонию из столовой в гостиную?

— Разумеется, мисс Балеифум, — сказал Пандро. — Когда вам угодно.

И вот мы вошли к ней в дом, и пока она поучала нас, как взяться за дело, чтобы ни инструмента не повредить, ни самих себя, передвинули его полегоньку из столовой в гостиную.

— Так вот, почитайте эти книжки, — сказала мисс Балеифол.

— Хорошо, — сказал Пандро. — Это все?

— Вот что, — сказала леди. — Мне хочется, чтобы вы

спели. Я поиграю на фисгармонии, а вы спойте.

— Я не умею петь, мисс Балеифум, — сказал Пандро.

— Вздор, — сказала леди. — Конечно, умеешь, Педро.

— Пандро, а не Педро, — сказал Пандро. — Педро зовут моего кузена.

На самом деле имя Пандро было Пантало, что по-армянски значит: штаны, панталоны. Когда Пантало поступил в школу, учительнице, видимо, не понравилось это имя, и она записала в свой список «Пандро». Кузена Пандро звали Петрос, в школе же его переименовали в Педро. Разумеется, все было в полном порядке, и никто от этого не пострадал.

Не отвечая Пандро, почтенная леди уселась на табуретку, поставила ноги на педали инструмента и, не дав нам никаких указаний, заиграла какую-то песню, тягучую, скучную — очевидно, религиозную. Потом она запела. Тут Пандро шепотом произнес весьма нечестивое, чтобы не сказать непристойное, слово, которого мисс Балеифол, к счастью, не услышала.

Голос мисс Балеифол был не из тех, что производят впечатление. Педаль своим скрипом заглушала пение, тогда фисгармонии не хватало чистоты, но, несмотря на все это, можно было понять, что голос у мисс Балеифол совсем не чарующий.

— Галилея, Галилея, — пела она.

Она обернулась к нам, кивнула и сказала:

— Пойте, мальчики, пойте.

Мы не знали ни слова, ни мелодии, но простая вежливость требовала, чтобы мы честно попробовали, что мы и сделали, стараясь по возможности следовать музыке, исходившей из фисгармонии, и возвышенным словам, исходящим из мисс Балеифол.

— Он грозой повелевал, умирняя бурный вал, — пела она.

Всего мы попытались спеть три песни. После каждой из них Пандро говорил:

— Большое спасибо, мисс Балеифум. Можно теперь идти? Наконец она встала из-за инструмента и сказала:

— Я уверена, что это пойдет вам на пользу. Если дур-

ные приятели будут звать вас выпить, отвратитесь от них.

— Мы отвратимся, мисс Балеифум, — сказал Пандро. — Правда, Арам?

— Я лично отвращусь, — сказал я.

— Я тоже, сказал Пандро. — Можно теперь идти?

— Прочитайте книжки, — сказала она. — Еще не поздно.

— Мы прочтем, — сказал Пандро. — Как только выберем свободное время.

Мы покинули дом почтенной леди, вернулись во двор перед домом Пандро и стали читать ее книжки. Не успели мы прочесть и половину, как леди вышла на крыльцо и очень громким и возбужденным голосом сказала:

— Кто из вас это был?

— Кто из нас что? — спросил Пандро.

— Кто из вас пел? — сказала мисс Балейфол.

— Мы оба пели, — сказал я.

— Нет, — сказала мисс Балейфол. — Только один из вас пел. У одного из вас превосходный христианский голос.

— Не у меня, — сказал Пандро.

— Это ты, — сказала мисс Балейфол, обращаясь ко мне. — Это был ты, Юджин.

— Арам, а не Юджин, — возразил я. — Нет, едва ли у меня такой голос.

— Мальчики, идите сюда, — сказала мисс Балейфол.

— Кто из нас? — сказал Пандро.

— Оба, — сказала леди.

Когда мы опять очутились у нее в доме и мисс Балейфол уселась за фисгармонию, Пандро сказал:

— Я не хочу петь. Мне не нравится.

— Пой ты, — сказала мне леди.

Я запел.

Мисс Балейфол вскочила на ноги.

— Это ты, — сказала она. — Ты должен петь в церкви.

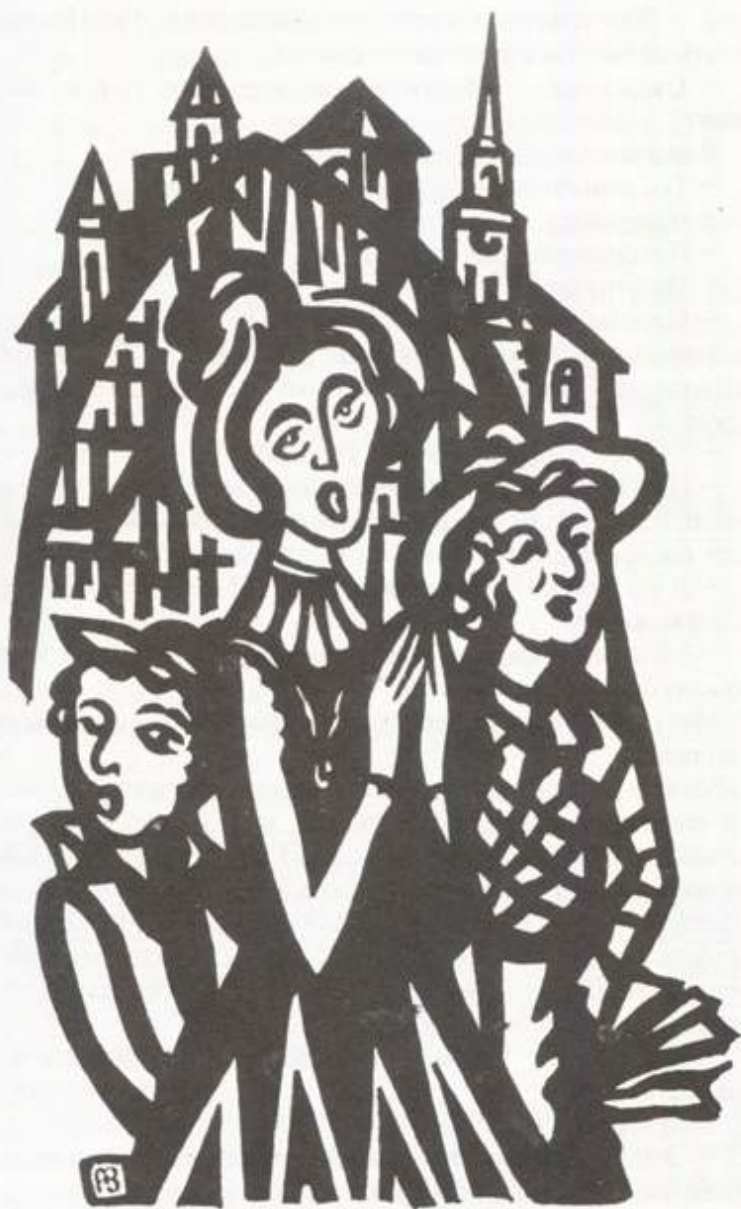
— Не буду, — сказал я.

— Не богохульствуй, — сказала она.

— Я не богохульствую, — сказал я. — И по гроб жизни обещаю не богохульствовать, но в церкви петь я не стану.

— Голос у тебя — самый христианский из всех, какие я слышала, — сказала мисс Балейфол.

- Нет, не самый, — ответил я.
- Нет, самый, — сказала она.
- Все равно я петь не буду, — сказал я.



— Ты должен, должен, — сказала она.

— Благодарю вас, мисс Бaleyфол, — сказал Пандро. — Нам можно идти? Он не хочет петь в церкви. — Он должен, должен, — настаивала леди. — Зачем? — сказал Пандро. — Для спасения души, — сказала леди. Тут Пандро опять прошептал нечестивое слово.

— Скажи-ка, — обратилась ко мне леди. — Как тебя зовут?

Я сказал.

— Ты, конечно, христианин? — спросила она.

— Наверное.

— Пресвитерианин, конечно?

— На этот счет не знаю.

— Пресвитерианин, — сказала леди. — Конечно, пресвитерианин. Я хочу, чтобы ты пел в пресвитерианской церкви на Туларе-стрит, в хоре отроков, в будущее воскресенье.

— Зачем? — спросил опять Пандро.

— Нам нужны голоса, — объяснила леди. — Нам нужны юные голоса. Нам нужны певчие. Он должен петь в будущее воскресенье.

— Я не люблю петь, — сказал я. — И не люблю ходить в церковь.

— Мальчики, сядьте, — сказала мисс Бaleyфол. — Мне нужно с вами поговорить.

Мы сели. Мисс Бaleyфол говорила по меньшей мере полчаса.

Мы не поверили ни одному ее слову, хотя из учтивости отвечали на все ее вопросы так, как ей этого, видимо, хотелось. Но когда она предложила постоять рядом с ней на коленях, пока она будет молиться, мы отказались. Мисс Бaleyфол и так и сяк уговаривала нас, но мы не хотели. Пандро сказал, что мы согласны, когда понадобится, передвигать для нее фисгармонию или что-нибудь в этом роде, но на колени становиться не будем.

— Ну ладно, — сказала мисс Бaleyфол, — а глаза вы закроете?

— Зачем? — сказал Пандро.

— Это так принято — закрывать глаза, когда кто-то молится, — сказала мисс Бaleyфол.

— А кто молится? — спросил Пандро.

— Пока никто, — сказала мисс Бaleyфол. — Но если вы обещаете закрыть глаза, я помолюсь. Только вы должны обещать, что закроете.

— О чем вы хотите молиться? — сказал Пандро.

— Я помолюсь за вас, мальчики, — сказала она.

— Зачем? — сказал Пандро.

— Коротенькая молитва не причинит вам вреда, — сказала мисс Бaleyфол. — Будьте добры, закройте глаза.

— О! Пожалуйста, — сказал Пандро.

Мы закрыли глаза, и мисс Бaleyфол стала молиться.

Молитва оказалась не такой уж коротенькой.

— Аминь, — сказала леди. — Ну, мальчики, разве вам теперь стало не лучше?

Говоря по правде, лучше нам вовсе не стало.

— Да, конечно, — сказал Пандро. — Можно нам теперь идти, мисс Бaleyфум? В любое время, когда понадобится передвинуть фисгармонию, мы к вашим услугам.

— Пой от всей души, — сказала мне мисс Бaleyфол, — и отвращайся от дурных приятелей, которые зовут тебя выпить.

— Хорошо, мэм, — сказал я.

— Ты знаешь, где эта церковь? — добавила она.

— Какая церковь?

— Пресвитерианская церковь на Туларе-стрит.

— Знаю.

— Мистер Шервин будет ждать тебя в воскресенье утром, в девять тридцать, — сказала она.

Тут я почувствовал, что окончательно попался.

В воскресенье Пандро пошел в церковь со мной, но петь в хоре мальчиков отказался. Он сел в заднем ряду, слушал и наблюдал. Что до меня, то я пел, но никогда еще не чувствовал себя таким несчастным.

— Больше я сюда не пойду, — сказал я Пандро, когда все кончилось.

В следующее воскресенье я, конечно, не явился, но это не помогло. Мисс Бaleyфол снова заманила нас к себе, играла на фисгармонии, пела сама и заставляла петь нас,

молилась и явно была намерена удержать меня в хоре мальчиков во что бы то ни стало. Я отказался наотрез, и мисс Бaleyфол решила поставить дело на более мирскую основу.

— У тебя на редкость христианский голос, — объяснила она. — Голос, в котором нуждается церковь. В душе ты глубоко религиозен, хотя и не сознаешь того. Я тебя очень прошу петь по воскресеньям для меня. Я буду тебе платить.

— Сколько? — спросил Пандро.

— Пятьдесят центов, — сказала мисс Бaleyфол. Обычно мальчики пели четыре — пять псалмов. Это занимало каких-нибудь полчаса, но нужно было просидеть еще час, пока священник говорил проповедь. Короче говоря, это стоило дороже.

Поэтому я промолчал.

— Семьдесят пять центов, — предложила мисс Бaleyфол.

Воздух в церкви был спертый, священник ужасно нудный, словом, тоска была смертная.

— Доллар, — сказала мисс Бaleyфол. — И ни цента больше.

— Накиньте до доллара с четвертью, — предложил Пандро.

— Доллар, и ни цента больше, — сказала леди.

— У него самый лучший голос во всем хоре, — сказал Пандро. — Один доллар? За такой замечательный голос дадут два в любой церкви.

— Я назвала свои условия, — сказала мисс Бaleyфол.

— Есть и другие вероисповедания, — заметил Пандро. Это вывело почтенную леди из себя.

— Его голос, — сказала она резко, — голос христианский и, более того, пресвитерианский.

— Баптисты были бы рады заполучить такой голос за два доллара, — сказал Пандро.

— Баптисты! — воскликнула мисс Бaleyфол чуть ли не с презрением.

— Они ничем не хуже пресвитериан, — возразил Пандро.

— Один доллар, — сказала мисс Бaleyфол. — Один доллар — и твоя фамилия в программе.

- Я не люблю петь, мисс Балеифол, — сказал я.
- Нет, любишь, — возразила она. — Это тебе только кажется, что не любишь. Если б только ты видел свое лицо, когда поешь...
- Голос у него ангельский, — сказал Пандро.
- Вот я тебе дам как следует, — сказал я Пандро по-армянски.
- Это не какой-нибудь там долларовый голосишко, — сказал Пандро.
- Ладно, ребята, — сказала мисс Балеифол. — Доллар и пятнадцать центов, но не больше.
- Доллар с четвертью, — сказал Пандро, — или мы уходим к баптистам.
- Хорошо, — согласилась мисс Балеифол. — Но я должна сказать, вы здорово торгуетесь.
- Одну минутку, — вмешался я. — Я петь не люблю. И я не буду петь ни за доллар с четвертью и ни за какие другие блага.
- Сделка есть сделка, — сказала мисс Балеифол.
- Я не заключал никаких сделок, — сказал я. — Это Пандро. Пускай он и поет.
- Но он не может петь, — сказала мисс Балеифол.
- У меня самый гадкий голос на свете, — с гордостью сказал Пандро.
- За его бедный голос никто не даст и десяти центов, — сказала мисс Балеифол.
- Даже пяти, — добавил Пандро.
- Так вот, — сказал я, — я не стану петь ни за доллар с четвертью и ни за что бы там ни было. Мне не нужны ваши деньги.
- Вы заключили сделку, — сказала мне мисс Балеифол.
- Уговор дороже денег, — подтвердил Пандро.
- Я бросился на Пандро прямо в гостиной мисс Балеифол, и мы сцепились. Престарелая христианская леди пыталась нас разнять, но так как в драке невозможно было разобраться, кто из нас отрок с ангельским голосом, она стала молиться. Драка продолжалась до тех пор, пока в комнате не была опрокинута вся мебель, кроме фисгар-

монии. Матч окончился вничью, борцы в изнеможении валялись плашмя на полу.

Мисс Бaleyфол перестала молиться и сказала:

— Значит, в воскресенье, за доллар с четвертью.

Прошло несколько минут, пока я отдышался.

— Мисс Бaleyфол, — сказал я. — Я буду петь в церкви, только если Пандро будет петь тоже.

— Но его голос! — возразила мисс Бaleyфол. — Он ужасен.

— Не мое дело, — сказал я. — Я буду петь, если и он будет тоже.

— Боюсь, что он погубит весь хор, — сказала леди.

— Он должен ходить туда со мной каждое воскресенье, — настаивал я. — Иначе не выйдет.

— Ладно, дайте мне подумать, — вздохнула мисс Бaleyфол.

Она стала обсуждать дело вслух.

— Допустим, он придет и постоит в хоре, — сказала она, — но петь не будет. Допустим, он будет делать вид, что поет.

— Это мне все равно, — сказал я. — Только он должен быть там все время.

— А что вы мне дадите за это? — спросил Пандро.

— Ну вот еще, — сказала мисс Бaleyфол. — Недостало только, чтобы я платила тебе.

— Если я буду туда ходить, — сказал Пандро, — я должен получать за это деньги.

— Ладно, — сказала мисс Бaleyфол. — Один доллар мальчику, который поет. Двадцать пять центов тому, кто молчит.

— У меня самый гадкий голос на свете, — напомнил Пандро.

— Будь благоразумен, — сказала мисс Бaleyфол. — Ты же не будешь петь. Ты только будешь стоять там с другими мальчиками.

— Двадцать пять центов — это мало, — сказал Пандро.

Мы поднялись с пола и стали расставлять по местам мебель.

— Ладно, — сказала мисс Балейфол. — Доллар мальчику, который поет. Тридцать пять центов тому, который молчит.

— Накиньте до пятидесяти, — сказал Пандро.

— Хорошо, — сказала мисс Балейфол. — Доллар — тебе. Пятьдесят центов — тебе.

— Мы начинаем работать со следующего воскресенья? — сказал Пандро.

— Правильно, — сказала леди. — Я буду платить вам здесь, после церкви. И ни слова никому из мальчиков — певчих.

— Мы никому не скажем, — обещал Пандро. Таким образом, на одиннадцатом году своей жизни я стал более или менее пресвитерианином — по воскресным дням. Это было не из-за денег. А просто потому, что уговор дороже денег, и потому, что мисс Балейфол положила в душу, что я должен петь во имя веры.

Да, как я уже один раз сказал, прелюбопытная вещь в нашей стране — эта легкость, с которой мы меняем религию без всякого ущерба для кого бы то ни было. Тринадцати лет меня крестили в армянской католической церкви, хотя я и пел тогда в пресвитерианском хоре и хотя я и начал уже относиться критически ко всей системе церковных обрядов и стремился всеми правдами и неправдами по-своему объяснить с господом богом и прийти к соглашению со всемогущим своим особым путем. Даже после крещения я сохранил в душе глубокое недовольство.

Через два месяца после крещения голос у меня сломался, и договор мой с мисс Балейфол был расторгнут. Для меня это было большое облегчение, а для нее — ужасный удар.

Что до армянской католической церкви на Вентура-авеню, я там бывал только на рождество и на пасху. Остальное время я переходил от одной религии к другой и в конце концов не стал от этого хуже, так что теперь, подобно большинству американцев, я признаю любое вероисповедание, включая свое собственное, без всякой нетерпимости к кому бы то ни было. Все равно, во что бы ты ни веровал, лишь бы был хорошим человеком.



ЛОКОМОТИВ 38, ОДЖИБВЕЙ

Однажды к нам в город приехал человек верхом на осле и стал являться что ни день в публичную библиотеку, где я тогда проводил почти все свое время. Это был высокий молодой индеец из племени оджибвеев. Он сказал, что его зовут Локомотив 38. В городе все считали, что он сбежал из сумасшедшего дома.

Через шесть дней после того, как он к нам прибыл, на Туларе-стрит троллейбус сбил и серьезно ранил его осли. На другой день на углу улиц Марипоза и Фултон животное подошло, вероятнее всего от внутренних повреждений. Осел упал на тротуар, придавил индейцу ногу, застонал и сдох. Индеец высвободил ногу, поднялся, прохромал в аптеку на углу и заказал телефонный разговор на дальнейшее расстояние. Он звонил своему брату в Оклахому. Вызов стоил ему больших денег, которые он по требованию телефонистки опустил в щель аппарата так, словно для него это было обычное дело.

Я сидел в это время в аптеке и ел банановое мороженое с толчеными орехами.

Выйдя из телефонной будки, он увидел, что я сижу у стойки с газированной водой и ем это фантастическое кушанье.

— Хелло, Вилли, — сказал он.

Он знал, что мое имя не Вилли — нравилось называть меня так.

Он прохромал к буфету, где продавалась жевательная резинка, и купил три пакета с фруктовыми соками. Потом вернулся и спросил:

— Что ты ешь? Это выглядит довольно привлекательно.

— Особое банановое. С толчеными орехами.

Индеец взобрался на соседний стул.

— Дайте мне того же, — сказал он девушке, торгующей содовой.

— Нехорошо очень вышло с вашим животным, — сказал я.

— В этом мире для животных нет больше места. Какой бы мне купить автомобиль?

— Разве вы собираетесь купить автомобиль?

— Вот уже несколько минут я думаю об этом.

— Я и не подозревал, что у вас водятся деньги. Мне казалось, что вы бедны.

— Просто я произвожу на людей такое впечатление. И еще им кажется, что я сумасшедший.

— Что до моих впечатлений, то вы не показались мне ни сумасшедшим, ни богачом.

— Да, я богатый.

— Хотел бы и я быть богатым.

— Для чего?

— Да вот уже три года, как у меня мечта съездить в Мендоту на рыбалку. А для этого нужно снаряжение и хоть какая-нибудь машина.

— Ты умеешь водить машину?

— Я все умею водить.

— А ты когда-нибудь пробовал?

— Нет еще. Потому что у меня никогда еще не было автомобиля, а украсть его не позволяет наша религия.

— Ты хочешь сказать, что достаточно тебе сесть за руль, как машина у тебя поедет?

— Да, сэр.

— Вспомни, о чем я толковал тебе на днях около библиотеки.

- Это про век машин?
- Вот именно.
- Я помню.
- Индейцы рождаются на свет с инстинктом скакать на лошади, править веслом, удить рыбу, охотиться и плавать. Американцы рождаются с инстинктом гонять машину.
- Я не американец.
- Знаю. Ты армянин. Я прекрасно помню. Я спрашивал, и ты говорил мне. Ты армянин, родившийся в Америке. Тебе четырнадцать лет, и ты уже знаешь, что стоит тебе сесть за руль, и ты поведешь машину. Ты типичный американец, хотя и смуглый, как я.
- Управлять машиной проще простого. Легче, чем схать на осле.
- Отлично. Пусть будет так. Если я сейчас выйду и куплю машину, ты согласишься ее водить?
- Еще бы!
- А за какую плату?
- Вы хотите сказать, что будете платить мне за вождение?
- Конечно.
- Это очень любезно с вашей стороны, но мне не нужно никаких денег.
- Некоторые поездки могут продлиться долго.
- Чем дольше, тем лучше.
- Тебе что, не сидится на месте?
- Я родился в этом маленьком городишке.
- Он тебе не нравится?
- Мне нравятся горы, реки и горные озера.
- А бывал ты когда-нибудь в горах?
- Пока нет. Но когда-нибудь побываю.
- Ясно. Как ты считаешь, какой мне купить автомобиль?
- Как насчет фордовского «родстера»?
- Это самый лучший?
- Вам надо непременно лучший?
- Почему бы и нет?
- Не знаю. Может, потому, что лучший стоит кучу денег.

— Какой из них лучший?

— Некоторые считают, что «кадиллак». Другие предпочитают «паккард». И тот, и другой хороши. Трудно даже сказать, который лучше. «Паккард» просто великолепен на автостраде, но и «кадиллак» тоже. Я их много перевидел на шоссе — чудо что за машины.

— Сколько стоит «паккард»?

— Около трех тысяч. Или чуть побольше.

— Мы можем сейчас купить его?



Я встал со стула. Он выглядел помешанным, но я знал, что это не так.

— Послушайте, мистер Локомотив, вы и в самом деле сейчас же покупаете «паккард»?

— Ты же знаешь, мой осел только что сдох.

— Я видел, как это случилось. Они арестуют вас в любую минуту.

— Они меня не арестуют.

— Арестуют, если есть закон, запрещающий оставлять на улице дохлых ослов.

— Ничего они не сделают.

— Почему же?

— В этой стране очень уважают деньги, а их у меня много.

«Пожалуй, он все-таки чокнутый», — подумал я.

— Откуда они взялись у вас?

— У меня есть земля в Оклахоме. Около пяти тысяч акров.

— Они чего-то стоят?

— Нет. Кроме двадцати акров, остальное ничего не стоит. У меня нефтяные скважины на этих двадцати акрах. У меня и у моего брата.

— Как вы, оджибвеи, оказались в Оклахоме? Мне всегда представлялось, что вы живете на севере, вокруг Великих озер.

— Верно. Мы обычно живем у Великих озер, но мой дед был пионером. Когда всех потянуло на запад, и он туда подался.

— О! Ну тогда, я думаю, вас не станут беспокоить из-за вашего дохлого осла.

— Меня ни из-за чего не станут беспокоить. И не только потому, что у меня есть деньги. Но и потому, что меня тут принимают за сумасшедшего. В этом городе никому, кроме тебя, не известно, что у меня водятся деньги. Ты не знаешь, где бы нам сейчас же купить такую машину?

— Агентство «Паккард» находится на Бродвее, как раз через два квартала от библиотеки.

— Если ты уверен, что не откажешься водить для меня, пошли покупать тот самый «паккард». Хорошо бы яркого

цвета. Ну, скажем, красный, если найдется. Куда ты предпочел бы поехать для начала?

— Вам бы не хотелось съездить половить рыбки в Мендоте?

— Охотно проедем. Посмотрю, как ты рыбачишь. Где можно приобрести для тебя снаряжение?

— За углом, у Хомана.

Мы пошли к Хоману, и индеец купил мне рыболовное снаряжение за двадцать семь долларов. Потом мы отправились на Бродвей в агентство «Паккард». Красного «паккарда» у них не было, но имелась чудесная зеленая машина. Светло-зеленая, цвета молодой травы. Она стояла там с 1922 года. Это была чудесная спортивная модель для путешествий.

— Ты и в самом деле думаешь, что сможешь водить эту прекрасную машину?

— Я знаю, что смогу.

Полиция нашла нас в агентстве «Паккард» и хотела арестовать индейца из-за дохлого осла на улице. Индеец показал им какие-то бумажки, полицейские извинились и сказали, что сами уберут животное и очень сожалеют, что побеспокоили его.

— Пустяки, — сказал индеец.

Он повернулся к директору агентства Джиму Льюису, который на каждых выборах выставял себя на пост городского мэра.

— Я беру эту машину, — сказал индеец.

— Сию минуту оформлю вам документы, — сказал Джим.

— Какие документы? Я сразу плачу за нее.

— Вы хотите сказать, что платите наличными три тысячи двести семнадцать долларов шестьдесят пять центов?

— Да. Вот именно. Она готова для езды, не так ли?

— Разумеется. Я велю ребятам, пусть пройдутся по ней тряпкой, чтобы не осталось ни пылинки. Пусть проверят также мотор и нальют в бак бензину. Это займет не больше десяти минут. Если вы зайдете ко мне в контору, я быстро оформлю сделку.

Джим и индеец ушли в контору.

Через несколько минут Джим подошел ко мне, потрясенный до глубины души.

— Арам, — сказал он, — кто такой этот парень? Я раньше думал, что он псих. Я сказал Джонни, чтобы он позвонил в Юго-восточную Тихоокеанскую компанию, и там ответили, что его банковский счет переведен откуда-то из Оклахомы. Они говорят, на его счету свыше миллиона долларов. А я-то думал, он чокнутый. Ты его знаешь?

— Он сказал, что его зовут Локомотив 38, — ответил я.

— Это не имя.

— Это перевод его индейского имени, — сказал Джим. — В документах у нас записано его полное имя. Ты знаешь этого человека?

— Я с ним разговариваю ежедневно с тех пор, как он появился в нашем городе верхом на осле, который слох сегодня утром, но я никогда не думал, что у него водятся деньги.

— Он говорит, ты будешь водить его машину. Ты уверен, сынок, что ты именно тот человек, которому под силу водить эту прекрасную большую машину?

— Минутку, мистер Льюис, — сказал я. — Не пытайтесь разлучить меня с моей удачей. Я могу водить эту прекрасную большую машину не хуже любого другого в нашем городе.

— Да я и не пытаюсь тебя ни с чем разлучить. Я только не хочу, чтобы ты выехал отсюда и задавил шестерых или семерых ни в чем не повинных людей и, может быть, даже разбил машину. Полезай-ка в нее, я дам тебе несколько указаний. Ты что-нибудь знаешь о переключении скоростей?

— Ни о чем я ничего не знаю, но скоро узнаю.

— Ладно. А теперь разреши помочь тебе.

Я открыл дверцу и сел за руль. Джим уселся рядом со мной.

— Теперь, сынок, я хочу, чтобы ты отнесся ко мне, как к другу, который отдаст тебе последнюю рубашку. Я

хочу поблагодарить тебя за то, что ты привел ко мне этого индейского джентльмена.

— Видите ли, я всегда с ума сходил по «паккарду». Что мне теперь надо делать?

— Ну, давай начнем. — Он посмотрел на мои ноги: — Господи, сынок, да твои ноги не достают до педалей!

— Не беда. Вы объясните переключение скоростей.

Пока его ребята вытирали пыль, проверяли мотор и наполняли бак бензином, Джим мне все объяснил. Когда индеец вышел из конторы и сел сзади, там, где по-моему, он и должен был сидеть, мотор у меня был уже на ходу.

— Он говорит, что знает, как водить машину, — сказал индеец Джиму Льюсу. — Он знает это инстинктом, я верю ему.

— За Арама не беспокойтесь, — сказал Джим. — Он хорошо водит. Расчистите дорогу, ребята, освободите ему место.

Я медленно развернул большую машину, переключил скорости и вылетел из агентства со скоростью пятьдесят миль в час. За мной бежал Джим Льюис и кричал:

— Эй, полегче, не жми на всю скорость, пока не выберешься на шоссе. Скорость для города — двадцать пять миль в час.

Индеец и бровью не повел, хотя я порядком его расстроил. Но я делал это не нарочно. Я просто плохо себе представлял, что такое эта машина и как с ней справляться.

— Ты прекрасно водишь, Вилли, — сказал индеец. — Совсем так, как я предполагал. Вы, американцы, рождаетесь с инстинктом на технические новинки, вроде этой.

— Минут через пятнадцать мы будем в Мендоте, — сказал я. — И вы увидите, как здорово там ловится рыба.

— Сколько до Мендоты?

— Около тридцати миль.

— Тридцать миль — слишком большое расстояние, чтобы проехать его за пятнадцать минут. Считай лучше час. Тут будут красивые места, которые мне хотелось бы рассмотреть.

— Ладно. Но главное для меня — это поудить рыбу в Мендоте.

— Ну что ж, — сказал индеец. — Если тебе так хочется, можешь на этот раз ехать быстро, а как-нибудь в другой раз поедешь медленно, так, чтобы я мог полюбоваться видами. А то все так и проносится. Я даже вывески не успеваю прочесть.

— Хотите, я и сейчас поубавлю скорость?

— Нет, езжай как получается.

До Мендоты мы добрались за полчаса. Я мог показать и лучшее время, если бы не грязь на большей части дороги.

Я пригнал машину прямо на берег реки. Индеец спросил, знаю ли я, как опускается верх, чтобы можно было смотреть из машины, как я ужу. Как опускается верх, я не знал, но все же опустил его. На это у меня ушло двадцать минут.

Я удил рыбу три часа, дважды плюхался в реку и поймал наконец одну маленькую рыбешку:

— Ты не знаешь первейшего условия рыболовства, — сказал индеец.

— А разве что-нибудь было не так?

— Все было не так. Ты когда-нибудь раньше удил?

— Нет. Что же я делал неправильно?

— Особенных ошибок ты не допускал. Только удишь ты примерно с такой же скоростью, с какой гонишь автомобиль.

— Это плохо?

— Не очень, но только эдак мало что выудишь и к тому же не раз плюхнешься в реку.

— Я не плюхался, это рыбы тащили меня за собой. Они ужасно сильно тянут. Да и трава страшно скользкая. Просто не за что уцепиться.

Тут мне попалась еще одна рыбка. И я осторожно вытянул ее. Потом спросил, не пора ли нам ехать домой.

— Если хочешь, вернемся, — сказал индеец.

Я убрал свое снаряжение вместе с двумя рыбками, сел за руль, и мы поехали в город.

Я водил большой «паккард» этого индейца из племени оджибвеев по прозвищу Локомотив 38 все время, пока он жил во Фресно, то есть в течение всего лета. Жил он все время в отеле. Я попытался научить его водить машину, но он сказал, что об этом не может быть и речи. Целое лето гонял я «паккард» по долине Сан-Хоакин с индейцем на заднем сиденье, который сжевал не то восемь, не то девять пачек жевательной резинки. Он позволял мне ехать куда мне заблагорассудится, поэтому я выбирал места, где можно удить рыбу или поохотиться. Он утверждал, что я ничего не смыслю ни в ужении, ни в охоте, но ему приятно видеть, как я стараюсь. За все время, что я его знал, он ни разу не засмеялся, кроме одного случая. Это было, когда из 12-калибрового ружья с ужасной отдачей я выстрелил в зайца и убил ворону. Он все твердил мне тогда, что так оно для меня и нормально — выстрелить в зайца, а убить ворону.

— Ты типичный американец, — сказал он. — Иначе разве ты свыкся бы так с этой огромной машиной.

Однажды в ноябре в город приехал его брат и, зайдя на следующий день за ним в отель, я узнал, что он уехал в Оклахому.

— А где «паккард»? — спросил я.

— Они его забрали, — ответил служащий отеля.

— Кто же повёл машину?

— Индеец.

— Оба они индейцы. Который из братьев?

— Тот, что жил у нас.

— Вы уверены?

— Я только видел, как он сел в машину на переднее сиденье и уехал. Вот и все.

— Вы хотите сказать, что он умел переключать скорости?

— Похоже, что так, — сказал служащий. — По мне, он был опытный водитель.

— Благодарю вас.

На обратном пути домой я нашел всему объяснение. Индеец заставил меня поверить, будто он не умеет во-

дить, чтобы я мог гонять машину и получать удовольствие. Он был просто-напросто молодой человек, которого занесло к нам в город со смертельной скуки или еще с чего, и он воспользовался случаем поразвлечься с мальчишкой, тоже смертельно скучавшим в своем маленьком городке. Вот единственное объяснение, какое я нахожу, если не принять всеобщей теории насчет того, что он был сумасшедший.





ТРОЕ ПЛОВЦОВ И ОБРАЗОВАННЫЙ БАКАЛЕЙЩИК

Большую часть года канавы были сухими, но весной вода в них бурлила и клекотала. Едва растаивал снег на Сьерра-Неваде, рвы наполнялись гомоном и бог весть откуда прибывали сюда лягушки, черепахи, водяные змеи и рыбы. Весной вода торопилась, а вместе с ней и сердце, но по мере того, как цвет полей менялся от зеленого к жёлтому, соцветия сменялись плодами, а солнечное тепло дерзкой жарой, реки текли медленнее и сердце наполнялось ленью.

Обычно мальчики в одиночку или группами стояли на берегу и подолгу смотрели на воду, а потом кто-нибудь, соблазнившись, скидывал одежду, бросался с разбега в воду, задыхаясь, выныривал и переплывал на другой берег. Если мальчишка бывал не один, то остальные вскоре следовали его примеру, чтобы не возвращаться домой посрамленными. Вода не просто была холодная, а слишком занятая, что ли, не до мальчишек ей было. Весенняя вода вела себя крайне недружелюбно.

Однажды в апреле я отправился к Томсонову рву с моим двоюродным братом и его дружкой Джо Беттенкуртом, португальцем, который больше всего на свете

любил свободу и свежий воздух. На занятиях в классе он делался туповатым, неловким. Но как только он оказывался вне школы, он становился весьма добродушным, искренним и хорошим товарищем. Джо не был остолопом, просто он не желал получать образование.

Стояло яркое солнечное утро. У нас было по два бутерброда с копченой колбасой и десять центов на троих. Мы решили отправиться ко рву с таким расчетом, чтобы добраться туда к полудню, когда станет потеплее. Шли мы вдоль железной дороги, ведущей к Кальве, по прямому шоссе на Малагу, а потом восточнее, через виноградники.

Говоря о Томсоновом рве, мы имели в виду определенное место. Оно находилось на пересечении проселочных дорог с деревянным мостом и шлагбаумом. Южнее моста находилась заводь. С западной стороны было огороженное пастбище, где пощипывали траву коровы и лошади, на востоке проходила проселочная дорога. Дорога и канава много миль тянулись вместе. Вода текла на юг, следующий мост находился в двух милях. В летнее время удовольствие не считалось полным, пока не спустишься по течению до другого моста, а там выйдешь на берег, отдохнешь немножко на травке и потом поплывешь обратно против течения. Это была отличная тренировка.

Когда мы добрались до Томсонова рва, ясное утро омрачилось, сменившись по-зимнему хмурым днем, и стала надвигаться гроза. Вода заклокотала, небо посерело и быстро чернело, воздух стал холоден и неприветлив, местность казалась заброшенной и необитаемой.

— Я проделал весь этот путь для того, чтобы искупаться, — сказал Джо Беттенкурт, — и будет дождь или нет, а я собираюсь поплавать.

— Я тоже.

— Тебе-то придется подождать, — сказал мой кузен Мурад. — Мы с Джо посмотрим, что и как. Если все будет в порядке, ты тоже можешь поплавать. Ты вправду умеешь плавать?

— А, заткнись, — сказал я.

Так я говорил всегда, когда мне казалось, будто кто-

то ненароком обижает меня.

— Ну а все-таки, — сказал Джо Беттенкурт, — умеешь ты плавать?

— Ясное дело, умею.

— Если спросить его, — сказал мой кузен Мурад, — так он все умеет, да еще и лучше других.

Оба они и понятия не имели, насколько смутно я себе представлял, умею ли я плавать достаточно хорошо, чтобы нырнуть и пересечь толщу холодной ревущей воды. Сказать по правде, когда я увидел темный, грохочущий поток, мне стало страшно и в то же время меня как будто оскорбили, бросили вызов.

— А, заткнись, — сказал я воде.

Я вытащил свой завтрак и откусил от бутерброда. Мой кузен Мурад стукнул меня по руке, и я едва не уронил бутерброд в воду.

— Завтрак после купания, — сказал он. — Ты что, хочешь, чтобы тебя свело судорогой?

Я совсем забыл об этом. И все потому, что был испуган и взбудоражен.

— Какие там судороги от одного бутерброда?

— Лучше после купания, — сказал Джо.

Он был добрый парень. Он знал, что я испуган и просто блефую. Я знал, что он тоже боится, но все же сообщает получше меня.

— Слушайте, — сказал он. — Переплывем на тот берег, отдохнем там, вернемся назад, оденемся и позавтракаем, и если грозы не миновать, то сразу пойдем домой. А не то еще поплаваем.

— Гроза будет точно, — сказал мой кузен Мурад, — так что, если мы хотим поплавать, надо поторопиться.

Джо быстренько разделся, мой кузен Мурад тоже, и я — тоже. Мы голышом стояли на берегу и смотрели на недружелюбную воду. Она явно не звала нас прыгать в нее, но другого почетного способа оказаться в воде не существовало. Если в воду войдешь, а не прыгнешь, то ясное дело, что ты не пловец. Если прыгнешь ногами вниз, то это уже не позор, это всего только плохой стиль.

С другой стороны, вода была уж слишком незаманчивая, слишком негостеприимная, недружелюбная и зловещая. Скорость потока делала расстояние до другого берега больше, чем оно было на самом деле.

Не говоря ни слова, Джо прыгнул в воду. Без дальнейших проволочек прыгнул и кузен Мурад. Мгновение, другое между всплесками показались мне долгими днями в каком-то зимнем сне, потому что я был не только напуган, но и в придачу ужасно озяб. С кучей невысказанных слов в моем смятенном мозгу я бросился в поток.

Следующее, что я помню — а произошло это тремя секундами позже, — были вопли Джо, моего кузена Мурада и мои собственные. А дело было в том, что, прыгнув, мы угодили по самые локти в грязь, и каждый из нас выбрался с большим трудом, терзаемый тревогой, что случилось с двумя остальными. Мы стояли среди ревущей воды по колено в мягком иле.

Хорошо, что мы попрыгали в воду стоймя.

Если б мы с разбега нырнули вниз головой, то воткнулись бы в грязь по самые лодыжки и застряли бы там до лета, а то и дольше.

С одной стороны, мы, конечно, были малость испуганы, а с другой стороны — счастливы, что остались в живых.

Пока мы торчали в канаве, разразилась гроза.

— Вот что, — сказал Джо, — чем под дождем мокнуть, лучше уж останемся пока в воде.

Мы дрожали от холода, и все-таки нам казалось, что самое разумное сейчас — поплавать. Вода не достигала и трех футов глубины, однако Джо ухитрился выскочить из тины и переплыть поток туда и обратно.

Плавали мы, должно быть, не больше десяти минут, хотя нам показалось, что довольно долго. Потом мы вылезли из воды, оделись и, став под деревом, принялись за бутерброды.

Дождь зарядил с новой силой, и мы решили отправляться домой.

— Можно бы поехать, — сказал Джо.

На всем пути до Малаги проселочная дорога была пус-

тынной. В Малаге мы вошли в магазин и посушились около печки, потом скинулись и купили банку консервированных бобов и французскую булку. Владельца магазина звали Даркус, но он был не иностранец. Он вскрыл нам консервную банку, разделил бобы на три части, разложил по бумажным тарелкам, дал каждому по деревянной вилке и нарезал хлеб. Он был старик, но показался нам молодым и очень забавным.

- Вы где были, ребята?
- Плавали.
- Плавали?



— Ну да, — ответил Джо. — Мы показали этой реке!
— Пускай меня боронуют, — сказал бакалейщик. — Как она там?

— Глубина — фута три.

— Холодная?

— Как лед.

— Пусть меня возделают! И что же, повеселились?

— Как по-твоему? — спросил Джо моего кузена Мурада. — Повеселились мы?

Джо не знал, повеселились мы там или нет.

— Не знаю, — сказал Мурад. — Когда мы прыгнули в воду, по самый пояс застряли в грязи.

— Не очень-то просто было из нее выбираться, — сказал Джо.

— Пусть меня подрежут! — сказал бакалейщик.

Он вскрыл вторую банку бобов, отправил себе в рот солидную порцию, а остальное разделил на трех бумажных тарелках.

— У нас нет больше денег, — сказал я.

— А теперь скажите мне, ребята, что вас заставило это сделать?

— Ничего, — ответил Джо с лаконичностью человека, у которого имеется слишком много причин, чтобы так вот взять да и выложить их.

— Ладно, пусть меня соберут в кучу и сожгут, — сказал бакалейщик. — Теперь, ребята, скажите, мне, откуда вы родом. Калифорнийцы или иностранцы?

— Мы все калифорнийцы, — сказал Джо. — Я родился на Джистрит во Фресно. Мурад родился на Ореховой улице, или где-то на той стороне Южной Тихоокеанской дороги, и его кузен, по-моему, тоже где-то там поблизости.

— Пусть на мне пророчат оросительные каналы! А сейчас ответьте мне, ребята, какое у вас образование?

— Образование? Никакое.

— Что ж, пусть меня сорвут с дерева и упакуют в ящик. А теперь вот что я хотел бы знать — на каких иностранных языках вы говорите?

— Я говорю по-португальски, — ответил Джо.

— И ты еще заявляешь, что у тебя нет образования?

Хоть у меня и диплом Иейльского университета, мой мальчик, а говорить по-португальски я не умею. А ты, сынок, как обстоит дело с тобой?

— Я говорю по-армянски, — сказал мой кузен Мурад.

— Отлично! Пусть меня сорвет с виноградной лозы и съест по яголке молоденькая девушка... Я ни слова не говорю по-армянски, а ведь я кончил колледж, выпуск 1892 года. А тебя, скажи, сынок, как тебя зовут?

— Арам Гарогланиян.

— Га-ро-гла-нян, так ли я уловил?

— Так.

— Арам, — сказал бакалейщик.

— Да, сэр.

— А на каких иностранных языках говоришь ты?

— Я тоже говорю по-армянски. Это мой кузен, Мурад Гарогланиян.

— Ого! Пусть меня боронуют, обработают, подрежут, соберут в кучу, сожгут, сорвут с дерева — дайте-ка я подумаю, что еще? Бросят в ящик, сорвут с виноградной лозы, и пусть меня съест по яголке молоденькая девушка. Да, сэр, именно так, если это не слишком много. Вам не встретились рептилии?

— Какие еще рептилии?

— Да змеи.

— Ни одной не видали. Вода была слишком уж черная.

— Ах вот оно что! А водилась там какая-нибудь рыба?

— Не видали мы никаких рыб, — сказал Джо.

Перед магазином остановился «форд», из него вышел какой-то старик и по деревянному настилу перед крыльцом вошел в помещение.

— Открой мне бутылочку, Эббот, — сказал человек.

— Судья Гармон, — сказал бакалейщик, — я хочу представить вам трех самых храбрых калифорнийцев.

Бакалейщик указал на Джо, и тот представился:

— Джозеф Беттенкерт, я говорю по-португальски.

— Стефан Л. Гармон, — ответил судья. — Я немного говорю по-французски.

Бакалейщик показал на моего кузена Мурада, и Мурад сказал:

— Мурад Гарогланиян.

— На каком языке вы говорите? — спросил он.

— На армянском, — ответил мой кузен Мурад. Бакалейщик открыл и подал судье бутылку, тот поднес ее к губам, сделал три глотка, ударил себя в грудь и сказал:

— Я чрезвычайно горд, что познакомился с калифорнийцем, который говорит по-армянски.

Бакалейщик указал на меня.

— Арам Гарогланиян, — сказал я.

— Вы братья? — спросил судья.

— Двоюродные.

— Все равно. Теперь, Эббот, разрешите узнать, по какому поводу эта пирушка и ваше поэтическое волнение, если только это не бред?

— Вот эти ребята только что пришли сюда после того, как показали той старой реке, — пояснил бакалейщик.

Судья сделал еще три глотка, три раза неторопливо ударил себя в грудь и переспросил: — После чего?

— Они только что явились после купания.

— И никого из вас не знобит? — спросил судья.

— Знобит? — сказал Джо. — Мы не больны.

— Больны? — бакалейщик громко расхохотался. — Судья, эти ребята голыми ныряли в черную зимнюю воду и пришли сюда пылающие летним теплом.

Мы доели бобы и хлеб. Нам очень хотелось пить, но мы боялись показаться назойливыми, попросив по стакану воды. Я, во всяком случае, боялся, но Джо не стал долго думать.

— Мистер Эббот, — сказал он, — можно нам воды?

— Воды? — спросил бакалейщик. — Вода существует для того, чтобы в ней плавали.

Он достал три бумажных стакана, подошел к маленькому бочонку с краном и наполнил стаканы светлой золотистой жидкостью.

— А это вам, ребята, пейте на здоровье. Пейте солнечный, еще не бродивший сок золотого яблока.

Судья налил бакалейщику из своей бутылки, после чего поднес ее к губам и сказал:

— Ваше здоровье, джентльмены.

— Да, сэр, — сказал Джо. Мы выпили.

Судья закрыл бутылку, сунул в задний карман, внимательно посмотрел на нас, словно собирался запомнить на весь остаток своей жизни и сказал:

— До свидания, джентльмены. Суд открывается через полчаса. Мне нужно вынести приговор человеку, который говорит, что он не украл, а позаимствовал у другого лошадь. Говорит он по-испански. А тот другой, который утверждает, что лошадь была украдена, говорит по-итальянски. Итак, до свидания.

— До свидания.

Одежда уже почти высохла, но дождь все лил.

— Большое спасибо, мистер Эббот, — сказал Джо, — нам надо идти домой.

— Не за что, — ответил бакалейщик. — Это вам спасибо.

Какая-то странная молчаливость нашла вдруг на этого человека, который всего лишь минуту назад вел себя так шумно.

Мы тихо покинули лавочку и стали спускаться вниз по шоссе. Дождь теперь только чуть-чуть накрапывал. Я не знал, что и думать обо всем этом. Первым заговорил Джо.

— Этот мистер Эббот, — сказал он, — стоящий человек.

— На вывеске его фамилия Даркус, — сказал я, — Эббот — его имя.

— Имя там или фамилия, не знаю, — сказал Джо, — одно точно, что человек он стоящий.

— И судья тоже, — сказал мой кузен Мурад.

— Образованный, видно, — сказал Джо. — Я бы и сам выучился французскому, да только с кем потом говорить?

Мы молча продолжали путь. Через несколько минут черные тучи расступились, проглянуло солнце, и вдали на востоке над Сьерра-Невадой мы увидели радугу.

— Мы и правда показали той старой реке, — сказал Джо. — А он был сумасшедший?

— Не знаю, — сказал мой кузен Мурад. Мы добрались до дому только через час.

Мы все думали о тех двоих и еще о том, был ли бакалейщик сумасшедшим. Лично я был уверен, что нет, но в то же время мне казалось, что он вел себя как чокнутый.

— Пока, — сказал Джо.

Он пошел вниз по улице, но, пройдя метров двадцать, обернулся и сказал что-то словно сам себе.

— Что? — крикнул Мурад

— Именно! — сказал Джо.

— Что — именно?

— Он сумасшедший!

— Откуда ты знаешь?

— Как же можно, чтоб тебя сорвала с лозы и съела по яголке молоденькая девушка?

— А хоть бы и сумасшедший, — сказал мой кузен Мурад. — Ну и что же?

Джо сжал подбородок рукой и задумался. Теперь солнце светило вовсю, стало тепло, и мир наполнился светом.

— Нет, все-таки, не сумасшедший! — прокричал Джо. И двинулся дальше своей дорогой.

— Самый что ни на есть сумасшедший, — сказал кузен Мурад.

— А может быть, — сказал я, — он не всегда бывает такой.

Мы решили больше не говорить об этом до тех пор, пока снова не отправимся купаться, а тогда заглянем еще раз в лавочку и посмотрим, как там идут дела.

Когда через месяц мы снова пришли в лавку после того, как выкупались в канаве, вместо Эббота Даркуса там хозяйничал другой мужчина. Он тоже был не иностранец.

— Чего вам? — спросил он.

— Колбасы на десять центов и одну французскую булку, — сказал Джо.

— А где мистер Даркус? — спросил мой кузен Мурад.

— Уехал к себе домой.

— А где его дом?

— По-моему, где-то в Коннектикуте.

Мы сделали себе бутерброды с колбасой и стали есть.

Под конец Джо не выдержал:

— Он был сумасшедший?

— Ну, — сказал молодой человек, — трудно сказать. Сначала я думал, что он псих. А потом решил, что нет. Способ, каким он вел дела в своей лавке, наводил на мысль, что он не в себе. Он больше отдавал даром, чем продавал. В остальном с ним все было в порядке.

— Благодарю вас, — ответил Джо.

Лавка была теперь в полном порядке и стала довольно скучным местом. Мы вышли оттуда и отправились домой.

— Он сам ненормальный, — сказал Джо.

— Кто? — спросил я.

— Этот парень, что стоит сейчас за прилавком.

— Тот малый?

— Угу... тот парень, у которого нет никакого образования.

— По-моему, ты прав, — сказал мой кузен Мурад. Всю дорогу мы вспоминали образованного бакалейщика.

— Пусть меня возделают, — сказал Джо, расставаясь с нами и уходя вниз по улице.

— Пусть меня сорвут с дерева и бросят в ящик, — сказал мой кузен Мурад.

— Пусть меня срежет с лозы и съест по яголке молоденькая девушка, — сказал я.

Несомненно, то был замечательный человек. Спустя двадцать лет я решил, что он, наверное, был поэтом и держал бакалейную лавку в этом маленьком захудалом поселке ради поэзии, которая нет-нет да и попадалась там, а вовсе не ради презренных денег.





РОДСТВЕННОЕ НАПУТСТВИЕ, ИЛИ СОВЕТЫ АМЕРИКАНСКОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Как-то раз мой дядя Мелик собрался в путешествие из Фресно в Нью-Йорк. Перед отъездом зашел к нему его дядя Каро и рассказал об опасностях путешествия.

— Когда ты сядешь в поезд, — сказал старик, — осмоторительнее выбери себе место, садись и не глазами по сторонам.

— Хорошо, сэр, — ответил мой дядя.

— Как только тронется поезд, в проходе появятся двое мужчин в униформе и попросят предъявить билет. Не обращай на них внимания. Это мошенники.

— А как я это узнаю?

— Узнаешь. Ты не ребенок.

— Да, сэр.

— Не проедешь ты и двадцати миль, как к тебе подойдет добродушного вида молодой человек и предложит сигарету. Скажи ему, что ты не куришь. Сигареты будут с наркотиками.

— Да, сэр.

— Когда ты пойдешь в вагон-ресторан, прелестная молодая особа столкнется с тобой умышленно и чуть в объятия не заключит. Она станет рассыпаться в извинениях и будет очаровательна, и у тебя возникнет естественный порыв завязать с ней знакомство и подружиться. Подави свой естественный порыв и иди обедать. Эта женщина — авантюристка.

— Кто? — спросил мой дядя.

— Шлюха! — заорал старик. — Ты иди себе и обедай. Выбирай еду получше, и если вагон-ресторан переполнен, а за столом напротив сидит хорошенькая молодая женщина, то не смотри ей в глаза. Если она заговорит, притворись глухим.

— Хорошо, сэр.

— Притворись глухим, — продолжал старик. — Вот единственный выход из этого.

— Из чего?

— Из всего этого безобразия. Я сам путешествовал. Я знаю, что говорю.

— Да, сэр.

— И больше об этом ни слова.

— Да, сэр.

— Ни слова больше. С этим покончено. У меня семеро детей. Я жил в достатке и праведно. У меня была земля, виноградники, много скота и деньги. Нельзя иметь все сразу.

— Да, сэр.

— На обратном пути от ресторана к своему месту ты пройдешь через вагон для курящих. Там будет в самом разгаре карточная игра. Игроки, трое немолодых людей с дорогими на вид перстнями на пальцах, любезно поздороваются с тобой, и один из них пригласит присоединиться к ним. Скажи им, что не понимаешь по-английски...

— Да, сэр.

— Это все.

— Большое спасибо, — сказал мой дядя.

— Вот что еще, — сказал старик. — Укладываясь ночью спать, вынь из кармана деньги и спрячь их в ботинок.



Положи ботинок под подушку и не поднимай с нее головы и глаз не смыкай всю ночь.

— Да, сэр.

— Все.

Старик ушел, а на другой день мой дядя Мелик сел в

поезд и поехал через всю Америку в Нью-Йорк. Двое в униформе оказались не мошенниками, молодой человек с дурманыщими сигаретами не явился совсем, во время обеда за столом против него не оказалось прелестной молодой женщины и в курительной не было никакой карточной игры в разгаре. Мой дядя спрятал деньги в ботинок, положил его под подушку и не спал до утра, но на вторую ночь нарушил весь ритуал.

На следующий день он сам предложил сигарету какому-то юноше, и тот ее принял. Во время обеда он лез из кожи вон, чтобы сесть за один столик с молоденькой женщиной. Он играл в курительной в покер и задолго до прибытия поезда в Нью-Йорк знал в вагоне всех и все знали его. А раз, когда поезд проезжал через Огайо, мой дядя, молодой человек, принявший от него сигарету, и две юных леди, едущие в Вассар, составили квартет и запели «Уобошский блюз».

Путешествие было весьма приятным.

Когда мой дядя Мелик вернулся из Нью-Йорка, его старый дядя Каро снова зашел к нему.

— По-моему, ты превосходно выглядишь, — сказал он. — Ты следовал моим указаниям?

— Да, сэр, — отвечал дядя.

Старик вперил свой взгляд в пространство:

— Я рад, что хоть кому-то мой опыт принес пользу.





МОЙ КУЗЕН ТИГРАН, ОРАТОР

Лет двенадцать назад у армян из долины Сан-Хоакин ораторское искусство считалось величайшим, благороднейшим, чуть ли не единственным искусством. Пожалуй, девяносто два из ста фермеров в окрестностях Фресно полагали тогда, что тот, кто умеет произносить речь, — культурный человек. Теперь, много лет спустя, я объясняю это тем, что на неловких и застенчивых земледельцев производило огромное впечатление, если человек умел взойти на трибуну, взглянуть на карманные часы, вежливо кашлянуть и, начав спокойно, возвысить голос до рева, который до глубины души потрясал фермеров и внушал им, что оратор — человек образованный.

«Что за язык! Сколько пыла! Какая мудрость! Какое величественное громогласие!» — думали они.

Фермеры, собравшиеся в одной из трех городских церквей, трепетали от благоговения и, смахнув слезу, жертвовали столько денег, сколько могли.

Если же сбор предназначался для дела, особенно близкого душе фермера, он вставал и, доставая деньги, выкрикивал на весь зал:

— Мкртыч Касабян с женой Араксией и тремя сыновьями — Гургеном, Сираком и Товмасом — пятьдесят центов!

И садился под гром аплодисментов, относящихся не столько к его словам, сколько к великолепной манере выражаться, прекрасному и драматичному произношению чудесных имен своей родины: Мкртыч, Араксия, Гурген, Тозмас!

Жители долины Сан-Хоакин соревновались друг с другом в подобных выступлениях и пожертвованиях. Если земледелец не вставал и не объявлял публично о даре, как то подобает мужчине, — значит, парень никуда не годился. Ни денег, ни сердца, чтобы встать и, отбросив в сторону робость, выразить трепет своей души.

Из-за этого состязания какой-нибудь фермер, у которого не нашлось денег на пожертвование, но который всей душой порывался внести свою лепту, год за годом чуть со стыда не сторал на собраниях, пока, наконец, с наступлением лучших дней не вставал и, грозно оглядывая аудиторию, не выкрикивал:

— Прошли дни бедности для Пампалонянов родом из славного города Тигранакерта — пятеро братьев Пампалонянов — двадцать центов!

После чего возвращался домой с гордо поднятой головой и ликующим сердцем. Бедность? Была когда-то. Но не теперь. И пятеро рослых мужчин, подталкивая своих сыновей, переглядывались с чувством семейной гордости и с умилением, довольные тем, что не уронили себя в глазах соотечественников.

Но больше всего гордился фермер, когда его сын где-нибудь в школе, в церкви или на пикнике вставал с места и произносил речь.

— Каков парень! — кричал, бывало, фермер своему восьмидесятилетнему отцу. — Послушай-ка его. Это Ваан, мой сын, твой внук, одиннадцати лет от роду. Он говорит о Европе.

Старик качал головой и диву давался — одиннадцать лет мальчугану, а такой серьезный и столько знает, и говорит про Европу. Старик едва ли представлял себе, где находится эта Европа, хотя, кажется, видел ее, когда по пути в Америку проезжал Гавр, тот, что во Франции. Может, этот Гавр и есть Европа, но что же такое могло вдруг

случиться с Гавром, что так сильно разволновало мальчишку?

— А-а, — зевал старик, — не моего ума это дело. Не очень-то я помню. А город был приятный, у моря, с пароходами.

Женщины при этом ликовали. Они переглядывались, качали головами и, послушав минут десять, как мальчик говорит на непонятном им английском, обливались счастливыми слезами. Ведь подумать только — маленький Перджик, вчера еще он не мог связать двух слов по-армянски, не то чтобы по-английски, а сегодня стоит на сцене и указывает пальцем то на потолок, то на запад, то на север или на юг, а иногда и на свое сердце.

В подобных обстоятельствах Гароглянянам необходимо было выдвинуть своего собственного оратора, хотя мой дедушка и считал всех ораторов идиотами и мошенниками.

— Если вы увидите маленького человека с очками на носу, надрывающегося на сцене, знайте, что он осел или лжец!

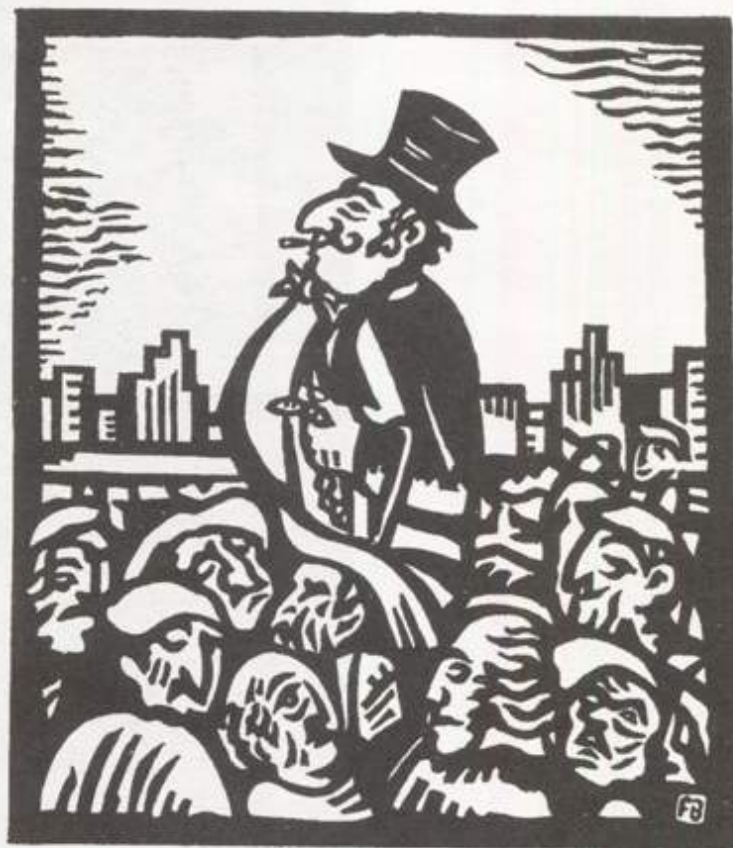
Старик терпеть не мог многословия. Ему нужно было узнать то, чего он не знал, и точка. Он не признавал болтовни ради болтовни. Он ходил на все публичные собрания, но от речей у него всегда разбалчивалась голова. Ораторы могли видеть с трибуны, до чего недоволен старик, и когда они замечали, как губы его произносят неслышные ругательства, пыл их охлаждался и они старались говорить о сути. А некоторые, зная, какими болванами он их считает, и желая с ним расквитаться, громко объявляли:

— Мы знаем, кое-кто из вас смеется над нами, над нашими стараниями, и даже считает нас дураками, но это наш крест, мы несли его и будем нести!

Тут дедушка кивал своим сыновьям, те — своим, братья подталкивали друг друга, женщины смущенно оглядывались по сторонам, и все Гарогляняны, числом тридцать семь или тридцать восемь, вставали и уходили во главе с дедушкой, который бросал яростные взгляды на бедных фермеров и приговаривал при этом: «Опять они несут свой крест — пойдем-ка лучше отсюда...»

И все же, говоря я, Гароглянянам необходимо было произвести на свет своего собственного оратора. Таков был

стиль времени и таково было желание народа, и потому кое-кто из рода Гарогланиянов считал очень важным выдвинуть своего представителя на это поприще и показать всем, какими должны быть настоящие ораторы, если уж они так необходимы.



Таким оратором оказался второй сын дяди Зораба, мой младший кузен Тигран, которому стукнуло девять лет, когда кончилась война. Он был моложе меня на год, но такой шуплый и невзрачный, что я на него и внимания не обращал.

Этот парень с самого начала был одним из тех мальчиков со способностями, с точным, маленьким и здравым умом, но без капли юмора, которые придерживаются того постыдного и оскорбительного мнения, будто





мудрость можно приобрести, мнения, особенно позорного для Гарогланынов, которые были мудры от природы. Дедушка любил похвастаться тем, что настоящий Гарогланын отличит мошенника с первого взгляда и знает, как с ним обращаться.



— Если вы когда-нибудь увидите человека, который не смотрит вам прямо в глаза, — говорил дедушка, — так и знайте — это дурной человек. Он или шпион, или аферист. А если где-нибудь встретите человека, чей взгляд говорит: «Братец, я твой брат», — остерегайтесь его, он прячет за пазухой нож.

Выслушивая подобные наставления со дня своего рождения, каждый Гарогланиян мог вырасти, составив мудрое знание о мире и его странных обитателях.

Единственным Гарогланияном, который не признавал этого, был мой кузен Тигран. Он черпал свои знания только из книг, а таких людей дедушка не выносил. Если чтение не вносит заметных изменений в характер парня, к чему оно? В случае с Тиграном дедушка не видел какого-либо сдвига. Наоборот, ему казалось, что парень день ото дня делается все скучнее, пока однажды, когда моему брату исполнилось одиннадцать, старику не сказали, что Тигран самый блестящий ученик в школе имени Лонгфелло, гордость учителей и самый что ни на есть настоящий оратор.

Когда мать мальчика принесла эту весть, старик, лежавший в гостиной на кушетке, отвернулся к стене и застонал:

— Ужасно... Какая жалость! Чем вы кормите мальчика?

— Ужасно? Он первый ученик школы, — сказала мать Тиграна.

Дедушка сел на кушетке и сказал:

— Если вы когда-нибудь услышите, что одиннадцатилетний мальчуган — самый блестящий ученик в школе, где пятьсот мальчиков, — не обращайтесь внимания. Ради всего святого, что в нем может быть замечательного?! Или ему не одиннадцать лет? Ты плохая мать, вот что тебе скажу. Гони бедного парня на свежий воздух, пусть поплавает в речке со своими братьями. Бедняжка даже не умеет как следует смеяться. А ты приходишь ко мне рано утром и заявляешь, что он блестящий мальчик. Ступай отсюда.

Но, несмотря даже на это, парень на всех парах мчался вперед, перелистывал страницы книг днем и ночью, в праздники и воскресенья, так что вдобавок ко всему пришлось ему нацепить на нос очки, отчего вид у него сделался еще более жалким. Каждый раз, когда собиралась семья, старик обводил всех взглядом и при виде Тиграна стонал:

— О господи, посмотрите на этого философа. Ну ладно, мальчик, поди сюда.

Тигран подходил и вытягивался перед ним.

— Итак, — говорил дедушка, — ты читаешь книги. Прекрасно. Тебе сейчас одиннадцать лет. Поблагодарим бога за это. Теперь скажи, что ты знаешь? Чему ты выучился из книг?

— Я не могу рассказать об этом по-армянски, — говорил мой кузен.

— Понятно, — говорил старик, — расскажи по-английски.

Мой младший кузен, одиннадцати лет от роду, произносил речь обо всех замечательных вещах, вычитанных из книг. Это было в самом деле удивительно. Он знал все даты, имена, причины и следствия.

Это было прекрасно, уныло, печально.

Дедушка неожиданно перебивал мальчика:

— Ты что, попугай? — рычал он.

И все же мне порой казалось, что старику нравится это странное явление в роду Гарогланиянов. Книжники — все дураки, так же как и ораторы, но во всяком случае наш оратор и книжник не похож на остальных. Ну хотя бы тем, что моложе и говорит куда яснее.

По этой причине, а также из-за упорного желания Тиграна следовать своим наклонностям Гарогланияны возвели его в ранг семейного ученого и оратора и разрешили ему заниматься чем заблагорассудится.

В 1920 году школа имени Лонгфелло организовала вечер, программа которого состояла из: 1) клуба веселых песен, 2) спектакля «Юлий Цезарь» и 3) доклада Тиграна Гарогланияна «Была ли напрасной первая мировая война?».

В назначенное время все Гарогланияны сидели в зале. Они выслушали ужасное пение, посмотрели кошмарного «Юлия Цезаря», а затем прослушали первого и единственного Гарогланияна — оратора, моего кузена Тиграна, второго сына дяди Зораба.

Речь была что надо: драматична, законченна, умна и потрясающе убедительна. Вывод был такой, что мировая война велась не напрасно, что Демократия спасла мир. Все в зале были поражены и бешено аплодировали.

Для дедушки это было уже слишком. Во время самой бурной овации старик вдруг громко расхохотался. Хотя,

признаться, речь получилась действительно удачной. Самая хорошая среди подобных речей, среди всякой чепухи этого рода. Во всяком случае, нам тут было чем гордиться.

Вечером дедушка подозвал к себе Тиграна и сказал:

— Я выслушал твой доклад. Все было отлично. Ты говорил о войне, в которой погибло несколько миллионов человек. Насколько я понял, ты доказал, что война велась не напрасно. Скажу тебе, я даже доволен. Столь внушительное и прекрасное утверждение могло сойти лишь с уст одиннадцатилетнего парня, который верит в то, что говорит. От взрослого мужчины я вряд ли снес бы такое чудовищное утверждение. Продолжай свое изучения жизни по книгам; если проявишь усердие и глаза не подведут тебя, то к шестидесяти семи годам ты поймешь всю невероятную глупость того, что так невинно произнесли сегодня твои уста на чистейшем английском языке. Во всяком случае я горжусь тобой, как и другие члены семьи Гарогланиянов. А теперь все можете идти. Я хочу спать. Мне не одиннадцать лет. Мне шестьдесят семь.

Все встали и ушли, кроме меня. Я остался и увидел, как дедушка скинул башмаки, и услышал, как он вздохнул и проговорил:

— Ах, эти удивительные сумасшедшие дети этой удивительной сумасшедшей семьи!





БЕДНЫЙ ОПАЛЕННЫЙ АРАБ

У моего дяди Хосрова, человека буйного нрава, который очень сильно тосковал по родине, был одно время друг — маленький человек из нашей страны, тихий и неподвижный, как камень. Он выражал свою тоску и печаль только тем, что стряхивал пыль с колен и молчал.

Этот человек был араб по имени Халил. Ростом с восьмилетнего мальчика, но с предлинными усами, как у моего дяди Хосрова. Лет ему было, наверное, шестьдесят с небольшим. Усы усами, но душой он был скорее дитя, чем мужчина. И глаза у него были, как у ребенка, только в них отражались годы воспоминаний, долгие годы разлуки со всем глубоко любимым: с родной землей, со своим отцом, с матерью, братом, лошастью или еще чем-нибудь. Волосы у него были мягкие и густые и такие же черные, как и в юности, и разделены пробором с левой стороны — точно так, как у маленьких мальчиков, совсем еще недавно попавших в Америку со старой родины. Голова у него была бы совсем как у школьника, если бы только не усы; да и фигура мальчишеская, только плечи широковаты. По-английски он говорить не умел, немножко говорил по-турецки, знал несколько слов по-курдски и несколько по-армянски, а вообще-то он почти не разго-

варивал. Когда же он произносил какое-нибудь словечко, казалось, будто голос исходит не из его груди, а откуда-то из недр старой родины. Говорил он так, будто сожалел, что приходится говорить, будто мучительно было человеку силиться выразить то, что все равно никак невозможно выразить, и будто все, что он не сказал бы, только прибавило бы скорби в его душе.

Как он снискал уважение моего дяди Хосрова — это осталось для всех нас тайной. Ведь мало что узнаешь и от людей болтливых, не то что от таких, как мой дядя Хосров, который слова зря не вымолвит, разве только выранится или попросит замолчать других. Должно быть, дядя Хосров встретился с арабом в кофейне «Аракс».

Мой дядя Хосров выбирал себе друзей и врагов смотря по тому, как они играли в «тавли» — игру, которая в Америке известна под названием «бэкгэммон». Всякая игра служит проверкой человеческого поведения в критическую минуту, и хотя вполне возможно, что дядя Хосров переживал проигрыш тяжелее, чем кто-то еще, он глубоко презирал всякого, кто не умел проигрывать с достоинством.

— О чем вы убиваетесь? — орал он на такого неудачника. — Игра это или нет? Вы же не жизнь свою теряете?

Сам он терял свою жизнь всякий раз, как проигрывал, но не допускал и мысли о том, что еще кто-нибудь может принимать проигрыш так близко к сердцу, как он. Другие, по его мнению, не должны были забывать, что это всего-навсего игра. Для него самого, однако же, игра была судьбой, решающейся за столом с каким-то ничтожным противником, который, бросая кости, бормочет им что-то по-турецки, то шепчет, то вскрикивает, улещивает их и закликает — словом, всячески перед ними унижается.

Дядя Хосров, напротив, презирал кости, считая их своим личным врагом, и никогда с ними не заговаривал. Случалось, что он выбрасывал их в окошко или швырял через всю комнату в угол и смахивал доску со стола.

— Собаки! — кричал он.

Затем, яростно наставляя палец на своего противника, выкрикивал:

— А ты! Мой соотечественник! И тебе не стыдно? Ты перед ними унижаешься. Ты им молишься. Мне стыдно за тебя! Я плюю на этих собак!

Разумеется, больше одной партии никто с моим дядей Хосровом не играл.

Кофейня была в свое время весьма известным и людным местом. Она остается такой и поныне, хотя многие из посещавших ее двадцать лет тому назад давно уже умерли.

Ее завсегдатаями были большей частью армяне, но заходили и другие. Все, кто помнил о старой родине. Все, кто ее любил. Все, кто там, на родине, играл в «тавли» или же в карточную игру «скямбиль». Все, кого тянуло к кушаньям родной земли, к ее вину, к ее водке и к маленькой чашечке кофе в часы дневного отдыха. Все, кто любил ее песни, ее истории. И все, кому нравилось посидеть в приятном местечке с привычным, давно знакомым запахом, в тысячах миль от родного дома.

Обычно дядя Хосров заходил в кофейню около трех часов дня. При входе он останавливался, оглядывал посетителей, потом усаживался один где-нибудь в уголке. Так он сидел, не двигаясь, час, другой, потом вставал и уходил, ужасно сердитый, хотя никто ему и слова не говорил.

— Бедные малютки, — говорил он обычно. — Бедные малые сироты. — Или, если буквально: — Бедные опаленные сироты.

«Бедные опаленные» — это перевести невозможно. Однако нет ничего более печального на свете, чем «бедный опаленный».

Вероятнее всего, однажды в кофейне дядя Хосров и приметил маленького араба, сочтя его человеком достойным. Может быть, араб сидел за «тавли», с глазами, полными умудренности и печали, и над доскою виднелись его широкие плечи и его темная мальчишеская голова, а потом, когда после игры он поднялся из-за стола, дядя Хосров увидел и то, что он ростом не больше мальчика.

А может быть, этот человек зашел в кофейню и, не

зная дяди Хосрова, сыграл с ним партию в «тавли» и проиграл ему и вовсе не жаловался; видно, он сразу понял, кто такой мой дядя Хосров, хотя ни у кого не спрашивал. Возможно даже, он не молился игральным костям.

С чего бы там ни возникла их дружба, на чем бы ни держалось их взаимопонимание и общение, так или иначе они время от времени заходили к нам вместе и были желанными гостями.



Когда дядя Хосров в первый раз привел к нам араба, он счел излишним его представлять. Моя мать решила, что араб наш соплеменник, может быть, даже какой-нибудь дальний родственник, хотя он был темнее большинства представителей нашего рода и пониже ростом. Но это, конечно, не имело для нее такого уж значения — ну, разве что глазу твоему всегда бывают приятны люди твоего же

роду и племени, с какими-то особенностями, отличающими их из поколения в поколение.

В первый день араб сел только после того, как моя мать несколько раз пригласила его располагаться у нас, как дома.

«Уж не глухой ли он?» — подумала она.

Нет, было видно, что он слышит; он прислушивался очень внимательно. Может быть, он не понимал нашего наречия? Моя мать спросила, откуда он родом. Он не ответил, а только смахнул пыль с рукава. Тогда моя мать спросила по-турецки:

— Вы армянин?

Это араб понял и по-турецки же ответил, что он араб.

— Бедный опаленный сиротка, — прошептал мой дядя Хосров.

На какое-то мгновение моей матери показалось, что арабу хочется поговорить, но скоро стало ясно, что для него, как и для дяди Хосрова, ничего не было более тягостного, чем беседа. Он мог бы поговорить, будь в этом необходимость, но ему, верно, просто нечего было сказать.

Моя мать подала мужчинам табаку и кофе и кивнула мне, чтобы я ушел.

— Им нужно поговорить, — сказала она.

— Поговорить? — удивился я.

— Им нужно побыть одним.

Я пошел в столовую, сел за стол и стал листать прошлогодний журнал с картинками, который знал наизусть, особенно картинки: Джелло, весьма любопытное строение; автомобили с шикарной публикой; электрические фонарики, бросающие снопы лучей в темноту; молодые люди в модных готовых пальто и костюмах, ну и прочее тому подобное.

Должно быть, я переворачивал страницы слишком уж энергично.

Мой дядя Хосров крикнул:

— Потише, парень, потише!

Я заглянул в гостиную как раз вовремя, чтобы увидеть, как араб смахивает с колена пылинки.

Мужчины просидели в гостиной около часа, потом араб глубоко вздохнул и, не говоря ни слова, ушел.

Я прошел в гостиную и сел на его место.

— Как его зовут? — спросил я.

— Помолчи, — сказал дядя Хосров.

— Нет, как его зовут? — повторил я.

Дядя Хосров до того разозлился, что не знал как быть. Он принялся звать на помощь мою маму, как будто его резали.

— Мариам! Мариам!

Мама поспешила в гостиную.

— Что случилось? — сказала она.

— Прогони его, пожалуйста, — сказал дядя Хосров.

— А в чем дело?

— Он спрашивает, как зовут араба.

— Ну и что же? — сказала мама. — Ведь он ребенок, ему любопытно. Скажи ему.

— Вот как! — простонал дядя. — И ты туда же! Родная сестра! Моя родная, бедная, опаленная сестричка.

— Ну ладно. Скажи, как зовут араба? — спросила она.

— Не скажу, — заявил дядя Хосров. — Не скажу, и все. Он встал и ушел.

— Он и сам не знает, как его зовут, — объяснила мне мама. — И нечего тебе зря его раздражать.

Дня через три, когда дядя Хосров снова пришел к нам с арабом, я был в гостиной.

Дядя Хосров подошел прямо ко мне и сказал:

— Его зовут Халил. А теперь ступай отсюда.

Я вышел из дому и стал поджидать во дворе одного из своих кузенов. Прошло десять минут, никто не приходил, и я сам отправился к кузену Мураду и проспорил с ним целый час о том, кто из нас будет сильнее через пять лет. Мы схватывались с ним три раза, и трижды он клал меня на обе лопатки, но один раз я чуть было не победил.

Когда я вернулся домой, оба гостя уже ушли. Я вбежал со двора прямо в гостиную, но там никого не было. Остался только их мужской запах и запах табачного дыма.

— О чем они говорили? — спросил я у матери.

— Я не слушала, — сказала мать.
— Может быть, они не разговаривали вовсе?
— Не знаю, — сказала мать.
— Не разговаривали, — сказал я.
— Одни, когда им есть что сказать, разговаривают, а другие молчат, — заметила мать.
— Как можно что-то сказать, не разговаривая? — спросил я.

— Говорить можно и без слов. Мы очень часто разговариваем без слов.

— А зачем же тогда слова?
— Чаше всего они не нужны. Или нужны только затем, чтобы не выдать того, что ты действительно хочешь сказать, или того, чего не следует знать другим.

— Ну, а они-то все-таки разговаривают или нет?
— Мне кажется, да, — сказала моя мать. — Сидят спокойно, попивают кофе, сигареты покуривают. Рта никогда не раскроют, но разговаривают все время. Они понимают друг друга и так, зачем же зря языком болтать?
— И они оба знают, о чем говорят?

— Конечно.
— Ну, так о чем же?
— Не могу тебе сказать: ведь они обходятся без слов. Но они понимают.

Целый год мой дядя Хосров и араб заходили к нам время от времени и сидели в гостиной. Иногда сидели по часу, иногда по два.

Однажды дядя Хосров вдруг как крикнет арабу: «Не обращайтесь внимания, слышите!» — хотя араб перед этим все время молчал.

Но чаще всего они не произносили ни слова, пока не наступало время уходить. Тогда дядя Хосров обычно тихо бормотал: «бедные опаленные сиротки», а араб только смахивал пыль с колен.

Однажды, когда дядя Хосров зашел к нам один, я спохватился вдруг, что араб не показывается у нас уже несколько месяцев.

— Где араб? — сказал я.

— Какой араб? — сказал мой дядя Хосров.

— Тот маленький бедный опаленный араб, который приходил сюда вместе с вами. Где он?

— Мариам! — кричал дядя Хосров. Он стоял пораженный ужасом.

«Ой-ой! — подумал я. — Что такое опять случилось? Что такого опять я натворил?»

— Мариам! — кричал он. — Мариам! Моя мать пришла в гостиную.

— В чем дело? — спросила она.

— Пожалуйста, — сказал дядя Хосров. — Это твой сын. Ты моя сестренка. Пожалуйста, прогони его отсюда. Я всем сердцем его люблю. Он американец. Он родился здесь. Когда-нибудь он станет большим человеком. Я в этом не сомневаюсь. Пожалуйста, прогони его.

— Да в чем же все-таки дело? — сказала моя мать.

— В чем дело? В чем дело? В том, что он тут болтает, задает мне вопросы. А я его люблю.

— Арам, — сказала мне мать.

Я стоял как вкопанный, и если мой дядя Хосров был сердит на меня, то я еще больше был сердит на него.

— Где араб? — сказал я.

Дядя Хосров безнадежно махнул рукой. «Вот, пожалуйста, полюбуйся, — говорил его жест. — Твой сын. Мой племянничек. Родная плоть и кровь. Все мы бедные опаленные сироты. Все, кроме него».

— Арам, — сказала мне мать.

— Что же я могу понять, если вы молчите? Скажите мне, где араб?

Дядя Хосров вышел из дома, ни слова не говоря.

— Араб умер, — сказала мне мать.

— Когда он тебе это сказал?

— Он ничего мне не говорил.

— Откуда же это тебе известно?

— Не знаю, откуда, — сказала моя мать. — Но он умер.

Дядя Хосров после этого долго не приходил к нам. Я стал даже думать, что он вообще больше не придет. Когда он наконец пришел, он остановился в гостиной и, не

снимая шляпы, сказал:

— Араб умер. Он умер сиротой на чужбине, за сто тысяч миль от родного дома. Он хотел вернуться домой и умереть там. Он хотел снова увидеть своих сыновей, хотел вдохнуть их запах, хотел разговаривать с ними, хотел услышать, как они дышат. У него не было денег. Он все время думал только о доме и сыновьях. Теперь он умер. Сступай. Я люблю тебя.

Мне хотелось расспросить его еще, особенно про сыновей араба — сколько их было, сколько времени он их не видел и тому подобное, но я решил пойти к моему кузену Мураду и посмотреть, не смогу ли я положить его на обе лопатки, и я ушел, не сказав ни слова, и это, наверное, очень понравилось дяде Хосрову, и он, наверное, подумал, что не все пропало, что есть еще на меня кое-какая надежда.





В ТЕПЛОЙ ТИХОЙ ДОЛИНЕ ДОМА

Еще не рассвело, когда мой двоюродный брат подъехал к дому на помятом, поколоченном форде и дернул запасной тормоз машины, потому как обычный уже вышел из строя. Машина подпрыгнула, задохнулась и стала. Мой двоюродный брат соскочил на землю и постоял во дворе, глядя на небо. Потом он поднялся по ступенькам крыльца, вошел в дом и появился на кухне, где я уже почти что кончал бриться.

— Похоже, будет шикарный день.

— Вот и прекрасно, — сказал я.

Он налил себе чашку кофе и сел завтракать. Хлеб с маслом, маслины, армянский сыр.

Я вытер лицо и присоединился к брату, налив и себе полную чашку кофе.

Кофейник был солидных размеров. Мой брат выпил четыре чашки, а я — три, выпил бы и четвертую, если бы только в кофейнике осталось что пить.

Мы вышли из дому, не дожидаясь рассвета.

— Днем у нас будет шикарный ленч, — сказал мой брат. — Я сам все приготовил.

— И будет что выпить?

— Пиво, — сказал он. — Шесть бутылок. Они у меня в

яшке, и чтоб не нагрелись, я их укутал в мокрый мешок.

— А может, попробуем раздобыть льда?

— Можно, конечно. Но лед растает.

— Ладно, — сказал я. — Выпьем пиво до ленча. Уж, наверно, до десяти лед не растает.

— На солнце уже с самого утра будет жарко.

— Не люблю теплого пива, — сказал я.

— Хорошо, — сказал он, — хоть слишком еще рано, но я знаю одно местечко, где мы достанем немного льда.

— А далеко это от нашей дороги?

— Нет, — сказал он.

— Ну ладно. Давай-ка я заведу машину.

— Нет, — сказал он. — Лучше я сам. Этот мотор не всякого слушается.

Он взялся за дело, мотор заработал, и мы сели в машину и тронулись в путь.

— Не думаю, чтоб по этой дороге попалась какая-нибудь речушка, — сказал я.

— Будет, — сказал он. — Где-то подальше будет ручей. Но возможно, что летом он высыхает.

— А ты не забыл про винтовку и дробовик? — сказал я.

— Да нет, черт возьми, — сказал он. — Но если ты что-нибудь из этой винтовки подстрелишь, считай, что тебе крупно повезло.

— Почему?

— Что-то там с прицелом.

— А может, с твоим глазом?

— Глаз тут ни при чем. С глазом у меня все в порядке. Я целился в кролика метров с шести и промазал.

— Глаз у тебя не в порядке, — сказал я. — Ну а что дробовик?

— Дробовик что надо.

— С прицелом ничего?

— Ничего, да к тому же ты обойдешься и без прицела.

— О! — сказал я.

Старенький фورد прогрехотал по Вентура-авеню и сбавил ход. Мой брат дернул запасной тормоз, машина подпрыгнула и заглохла возле заведения с вывеской «Уголь

и лед». Наверху, где располагалась контора, горел свет. Брат взбежал по ступенькам и толкнул дверь, но она оказалась на запоре. Тогда он заглянул в освещенное окно и увидел в комнате человека, который спал, сидя на стуле. Убедившись, что контора не пустует, брат принялся громко стучать. Через некоторое время дверь отворилась, и человек, появившийся на пороге, сказал:

— Вам чего?

— Пенсильванского угля, — сказал мой брат.

— Угля у нас никакого в этот сезон не бывает.

— Ну коли так, возьмем льда.

— Сколько вам нужно?

— Центов на десять, — сказал мой брат.

Человек исчез и вернулся через минуту с брусом льда в холщовом мешочке.

— А найдется чем расколоть? — сказал мой брат.

— Найдется, конечно.

Человек спустился вниз и вручил нам мешочек. Брат мой вывалил брусок на подножку машины и, взяв у человека что-то вроде кайла, стал аккуратно колоть лед и кусочки его бросать на мокрую мешковину, в которую обернуты были бутылки.

Человек из конторы получил свои десять центов и вернулся к себе в комнату, к своему стулу. А мы завели машину и поехали дальше.

Около окружной больницы мы повернули на север. Светало. Небо было редкостной красоты, и больница выглядела как-то особенно грустно.

— Ты когда-нибудь попадал в эту больницу? — сказал мой брат.

— Да, — сказал я. — А что у тебя было?

— Ничего. Я просто ходил туда навещать.

— Кого навещать?

— Кероба помнишь? — сказал я. — Ты был совсем еще мальчонка, когда он умер.

— Помню, — сказал он.

— Вот его я и навещал.

— А что у него было? — сказал мой брат.

— Чахотка, — сказал я.

— Ясно, — сказал мой брат. — Ну а какой он был вообще?

— Вообще отличный был парень, — сказал я. — Обычно я приносил ему виноград и персики. И еще инжир. Когда он умер, ему и сорока еще не было. А мне тогда было лет десять — одиннадцать.

Когда мы въехали в Кловис, солнце уже поднялось, и городок показался нам очень милым. Чтобы рассмотреть это местечко как следует, мы несколько раз проехали по его считанным улицам.

Людей на улицах не было ни души. Прибегнув опять к запасному тормозу, мой брат остановил машину около магазинчика.

— Не прогуляться ли нам по Кловису? — сказал он.

— И где-нибудь перекусить? — сказал я.

— Сколько у тебя денег? — сказал он.

— Доллар и еще мелочь, — сказал я.

— Можно, значит, и перекусить, если найдется где.

Мы вылезли из машины и пошли по главной улице.

Городок был не бог весть каких размеров. Две — три довольно печального вида улочки, по сторонам их — печальный строй одноэтажных и двухэтажных деревянных домов, и кое-где печальные окна лавок, и такие же печальные двери и вывески, и печально глядящие сверху окна вторых этажей. И сразу за городком видны были виноградники. Словом, это было просто маленькое местечко в сельском краю, окруженное виноградниками, но повидать его ранним утром было очень приятно.

Солнце уже поднялось и даже начало припекать, а городок все еще не просыпался. Пройдясь по главной улице, мы нашли закусочную, но она, к сожалению, была закрыта.

— Ну что, — сказал мой брат, — подождем, пока откроется, или поедем дальше?

— Похоже, что ждать тут придется долго.

— И для чего они завели эту закусочную, не пойму. Посмотрел бы я на парня, которому пришлось это в голову.

— Что за тип, как по-твоему? — сказал я.

— Да уж вряд ли симпатичный, — сказал мой брат. — На кой черт, интересно, завел он закусочную в городишке, где она явно никому не нужна?

— А может быть, она нужна ему самому. Может, он большой любитель поесть.

— Десять против одного, что ты угадал. Это маленький парнишка с большим аппетитом. Он ни минуты не хочет оставаться голодным. Он хочет, чтобы еда всегда была под рукой. Вот его и осенило устроить закусочную. В худшем случае он сам проглотит свою стряпню.

— Ладно, — сказал я, — с этим все ясно, так что не будем уж тут околачиваться.

Мы вернулись к своей колымаге, завели ее и поехали.

После Кловиса дорога потянулась среди холмов, покрытых пожелтелой высохшей травкой. Но миль через десять мы увидели холм, на склоне которого росли деревья, и брат сказал, что это отличное место. Место действительно оказалось славное. Час уже был жаркий, а под деревьями стояла прохлада, и трава в их тени была зеленая, свежая. Мы с братом съели по три сэндвича с мясом, выпили по бутылке пива и, захватив с собой ружья и остатки еды, пошли прогуляться и чего-нибудь пострелять.

Мы шли около часа, и ничего такого не попадалось, во что бы стрелнуть, так что мой брат стрельнул из винтовки по бабочке и промазал.

— Вот видишь, — сказал он, — с прицелом что-то не то.

— Дай-ка мне винтовочку, — сказал я.

Я тоже стрельнул по бабочке и тоже промазал.

— Звук, однако, отличный, — сказал я.

— Звук какой полагается, — сказал брат.

— Где же, наконец, ручей? — сказал я.

— Какой еще ручей? — сказал брат.

— То есть как это какой? — сказал я. — Ручей, про который ты говорил утром.

— Не думаю, чтоб сейчас там была вода.

— А раз нет воды, какой же это ручей?

Тут брат неожиданно громыхнул из дробовика, и я увидел пустившегося наутек кролика.

— Видать, и у дробовика твоего прицел не в порядке.

— Нет, — сказал мой брат. — Просто я решил, пока целился, что не стоит убивать невинную тварь. В самом деле, какая мне с того радость?

Два часа проходили мы, пока нашли наконец ручей. Кой-какая влага в нем все-таки сохранилась. Вода была застоявшаяся, с запашком, но мы все равно уселись возле нее на свежую травку и славно поговорили.

Брату хотелось что-нибудь еще узнать о нашем родственнике, который умер в окружной больнице, и я рассказал ему про Кероба, нашего дядю, а он мне рассказал о своем приятеле, о мальчишке по имени Харлан Бич, который утонул в Томсоновом рву.

— Хороший был парень, — сказал мой брат.

Вокруг стояла чудная тишина. Я растянулся на земле и глядел в небо. Ну вот и прожито сколько-то сумасшедших лет. И сколько всего — с ума сойти! — за это время случилось. И снова теперь сентябрь, и так здесь приятно. Жарко, и все-таки очень приятно. Эта долина — мой дом, здесь я родился. Мой дом — эта земля, и это небо, и воздух. И эта жаркая погода тоже мой дом. И брат мой — частица моего дома. И то, о чем и как он говорит. И люди, про которых мы с ним вспоминаем. Глядя на свое небо, я вспомнил Нью-Йорк. С тех пор, как я жил там, не прошло еще и года, но мне казалось, что прошло и десять, и двадцать лет. Мне казалось даже, что я там и не жил никогда, что все это, наверное, мне просто приснилось. Приснился этаким долгий сон, в котором было сначала лето, потом — зима, сначала — духотища и сумасшедшие громады домов, и сумасшедшие подземки, и толпы людей, а потом — сумасшедший холод и снег и покинутое солнцем хмурое небо.

Брат говорил сперва по-английски, а я — мешая английский с армянским. Потом и он вроде меня заговорил так и этак. Ну и в конце концов мы оба перешли на армянский.

— Бедный Кероб, — сказал мой брат. — Бедный, бедный, бедный. Когда-то он тут ходил, теперь — не ходит.



И он соединил ладони тем жестом, каким армяне обычно дают понять, что, мол, теперь уже точка, было что-то и кончилось.

— Давай-ка пожую что там у нас осталось, — сказал я.

— Давай, — сказал брат, — пожую и повспоминаем.

Мы съели все сандвичи и двинулись потихоньку обратно — к машине, где у нас оставалось пиво.

Пострелять на обратном пути опять было не во что.

— А давай-ка посалютуем в честь покинувших этот мир, — предложил мой брат.

— Славная мысль!

Мы вскинули наши ружья дулами к небу.

— Умершим, — сказал мой брат, и мы выстрелили.

Звук выстрела получился полубезумный, полутрагический.

— Керобу, — сказал я, и мы снова выстрелили.

— Харлану Бичу, — сказал мой брат, и последовал выстрел.

— Каждому, кто жил на этой земле и умер, — сказал мой брат, и мы оба выстрелили.

Звук от дробовика был в десять раз сильнее, чем от винтовки.

— Дай-ка мне на этот раз дробовик, — сказал я брату, и мы поменялись ружьями.

— Кому будет салют? — сказал он.

— Моему отцу, — сказал я и нажал на спуск. Отдача была сильнейшая.

— А теперь моему отцу, — сказал брат. Мы выстрелили.

— Моей бабушке, — сказал я.

— И моей бабушке, — сказал брат.

— Григорию Просветителю*, — сказала я.

— Петросу Дуряну**, — сказал брат.

— Раффи***, — сказал я.

Мы прошли еще немного, остановились и снова стали называть имена и стрелять.

**Григорий Просветитель — распространитель христианства в Армении (IV в.).*

***Дурян Петрос (1852–1872) — классик армянской поэзии.*

****Раффи (Акоп Мелик-Акопян, 1835–1888) — классик армянской литературы, романист.*

- Андранику*, — сказал мой брат.
- Хечо, — сказал я.
- Бедный Хечо, — сказал мой брат по-армянски.
- Мураду, — сказал я.

И так мы просалютовали в честь многих еще армян писателей, ученых, воинов и священников. Просалютовали в честь многих замечательных людей, умерших уже давно или недавно.

Мы закатили посреди холмов грандиозную трескотню, но все сошло прекрасно, потому что ни души вокруг не было.

Когда мы вернулись к машине, пиво уже, конечно, было не такое, как утром, холодное, но все-таки еще свежее и приятное для питья.

Мы выпили что оставалось, и брат завел машину, и мы сели и поехали от холмов в теплую, тихую, чудную долину, в единственную для нас на земле долину нашего дома.



**Андраник (Озаян Андраник, 1865–1927) – деятель национально-освободительного движения армян, военачальник; с 1922 г. жил в США, во Фрессно.*



СЛОВО К МАЛОВЕРАМ

От Рино до Солт-Лейк-Сити все, что видишь из окна автобуса или любого другого транспорта, — это пустыня. И все, что ты ощущаешь там в августе, — это сухой зной. Пустыня — это песок, равномерно простирающийся по всем направлениям, разнообразные виды кактусов и солнце. Иногда песок выглядит белым, иногда коричневым, а на закате дня его цвет из белого или коричневого делается желтым, а затем черным. Это означает, что наступила ночь, самое лучшее время в пустыне. Стоит пустыне и ночи соединиться, как получается нечто, именуемое безмолвием.

Воспоминание об этом живет с тобой всю жизнь.

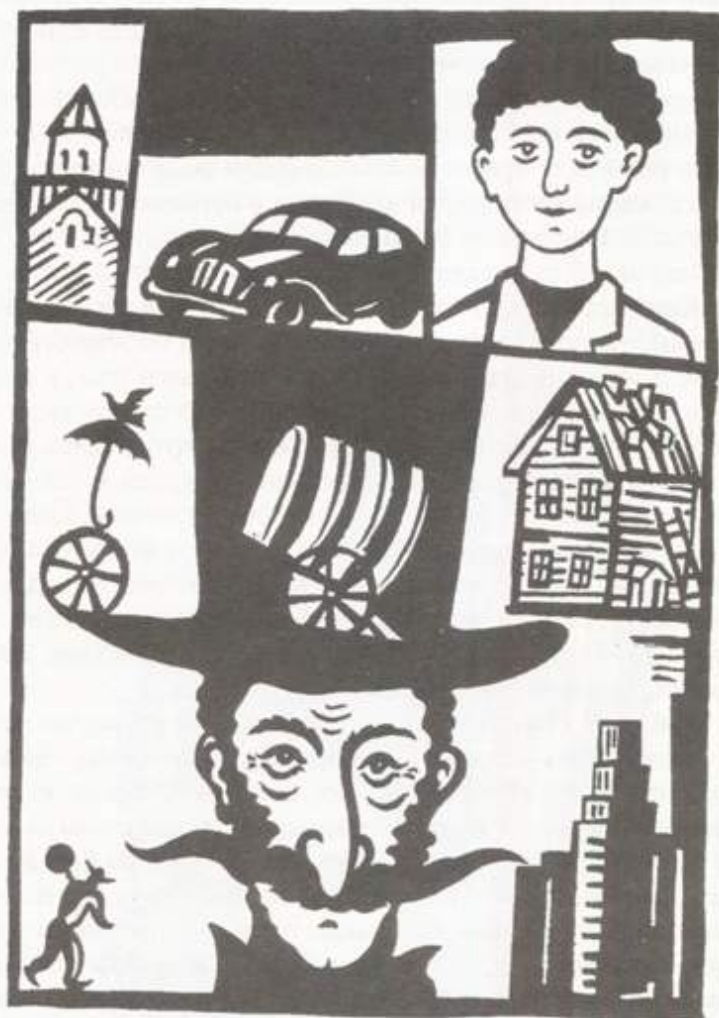
Оно полно тишины и тайны мироздания.

Все это я знаю потому, что однажды, по пути в Нью-Йорк, проехал автобусом от Рино до Солт-Лейк-Сити.

Это мой дядя Гико убедил меня перебраться в Нью-Йорк.

— И чего тебе жить в таких городишках? — говорил он мне. — Не будь безумцем, Арам. Езжай в Нью-Йорк, послушай меня.

Я послушал и теперь катил на автобусе от Рино до Солт-Лейк-Сити.



Прежде я никогда не бывал в этих местах и не представлял, что таковые вообще могут быть на свете. Кругом одна огромная высохшая пустошь, и в ней — ничего. Тем не менее — я старался глядеть во все глаза и днем, и ночью. Мне не хотелось, попав в такие края, упустить хоть что-нибудь.

Автобус выехал из Рино вскоре после полуночи. Рино —

один из тех городов Америки, которые кормятся целиком за счет человеческих пороков. Специальность Рино — азартные игры и проституция.

Неудивительно, что огни в городе горят ярко.

Помню, как я зашел в казино и еще в дверях отчетливо разглядел три черных волоска в носу у игрока в покер, сдававшего карты за столом в противоположном углу зала. И все из-за этого света.

Наш автобус, выехав из Рино, сразу очутился в пустыне. Контраст был просто поразительный: сперва яркие огни казино — и тут же ночная пустыня. Я думал об этих огнях и пустыне непрерывно, с полуночи до самого утра, и все равно, так и не додумался, в каких бы трех словах выразить то, что я чувствовал. Единственное, что я делал утром, это зевал. Едва автобус остановился, как я сейчас же вышел и огляделся по сторонам. Вокруг ничего, кроме пыли, неба и восходящего солнца. И не идут мне в голову хоть три малюсеньких слова, чтобы как-то прояснить для себя всю эту обстановку. Кругом ничего. Решительно ничего. Ни улиц, ни зданий, ни углов, ни подъездов, ни дверей, ни окон, ни вывесок — ничего.

Мой дядя Гико говорил, чтобы я ни в коем случае не оставался жить в маленьких городках, вроде того, где я родился, и вот сейчас я не мог дожждаться, когда же я наконец попаду из пустыни в большой город и снова начну хоть что-то соображать. Я все более склонен был думать, что моему дяде Гико ничуть не повредило бы, если б он сам покинул наш маленький городок и проехался по пустыне. Наверное, он перестал бы рассуждать обо всем с таким апломбом, если бы днем и ночью со всех сторон его окружала одна пустыня и он все время чувствовал ее угрюмое молчание. Мой дядя Гико не прочел столько умных книг, сколько я, потому что читал он медленнее и с большими трудностями, чем я, но зато все, что читал, он читал досконально и знал наизусть целые страницы из произведений писателей, живших в Европе лет двести тому назад. На своем ломаном английском он, бывало, произносил целые обличительные тирады собственного сочине-

ния. Он частенько говорил, что все люди бараны, но утверждал, что сам он не из числа таких. Я был такой же умница, как мой дядя Гико, но отличался от него тем, что говорил без акцента.

— Уезжай из городишки, отправляйся в Нью-Йорк.

Интересно, думал я, как бы на моем месте чувствовал себя в пустыне мой дядя Гико? Что касается меня, то я чувствовал, что просто ничего не в силах сообразить в



таком абсолютно пустом месте. Никакой во мне не было сейчас ни бодрости, ни находчивости. К тому же я чувствовал себя таким одиноким. Вот почему, не будучи искушенным в светской беседе, я все-таки попытался вступить в разговор с единственной особой женского пола в моем автобусе.

— Как называется это место? — сказал я.

Лет ей было, по крайней мере, тридцать пять, и была она очень уродлива.

— Какое место?

— Ну, вот эта земля кругом, — сказал я.

— Не знаю, — сказала она.

На этом наш разговор прервался до следующего вечера, когда она спросила меня, который час, а я сказал, что не знаю.

Да что там час, я не знал даже, какой это день недели. И вообще мне начинало казаться, что все, что я знаю, это то, что я ничего не знаю. Хотелось же мне одного: как можно скорее добраться до Солт-Лейк-Сити, чтобы опять увидеть улицы, и дома, и людей вокруг себя и постараться вернуть свою почерпнутую из книг премудрость, от которой так мало было проку в пустыне.

Дайте мне только снова очутиться в городе, твердил я самому себе. И я докажу, что могу быть не глупее других. Даже, наверно, умнее. Дайте мне только выбраться из этой глуши — и я начну сыпать остротами направо и налево.

Я переоценил свои силы. Стоило мне добраться до Солт-Лейк-Сити, как я растерялся еще больше, чем в пустыне. Я не сумел подыскать ни комнаты за пятьдесят центов, ни ресторана, где бы я смог плотно пообедать за пятнадцать центов. Я чувствовал себя усталым и голодным, мне хотелось спать, я был зол на прохожих, на дома, встречавшиеся на моем пути, и на самого себя — за то, что уехал из дома.

В конце концов я заплатил доллар за крохотный номер в старом отеле. Номер, в котором, как оказалось, жили привидения. Это была самая страшная комната из всех, где мне когда-либо доводилось жить, но в те дни я был

молод и упрям, и я оставался в ней ровно столько, сколько потребовалось, чтобы вся дьявольская нечисть, которая за долгую историю человечества так и не обрела материальной оболочки, успела сделать это и чтобы вся гамма нечеловеческих звуков, которые, по утверждениям ученых, не существуют в природе, смогла прозвучать в моих ушах. Я был напуган до смерти. За два часа я так ни разу и не пошевелился в своем кресле-качалке в самом центре комнаты, потому что был уверен: прежде чем я доберусь до двери или окна, что-нибудь обязательно схватит меня и задушит. Комната просто кишела всякой дрянью. Не знаю, как мне удалось выбраться из нее живым, но мне это удалось.

Я прогулялся по улицам Солт-Лейк-Сити и подыскал ресторанчик, где за двадцать пять центов смог перехватить рубленый шницель.

После этого я вернулся в свою комнатёнку и лег в постель, не сняв даже шляпы и башмаков. Я был намерен стартовать при малейшем сигнале любого бедствия — будь то мятеж, пожар, наводнение, землетрясение или чума. Прежде чем выключить свет я несколько раз потренировался в спринтерских пробежках по маршруту кровать — дверь — коридор. Результат был рекордным: через комнату я перемахивал одним прыжком, а чтобы выбежать на улицу, мне требовалось от трех до четырех секунд. В течение ночи я покидал свою обитель всего три раза и утром встал свежим, как огурчик.

Правда, поднялся я довольно рано, в пять часов, потому что мне очень не хотелось опоздать на автобус, по расписанию отходивший в половине десятого.

В четверть десятого, когда я стоял перед автобусной станцией, покуривая пятицентовую сигару и стараясь вернуть свой молодой антирелигиозный задор, чтобы снова почувствовать себя счастливым, какой-то долговязый мужчина лет пятидесяти, в рабочем комбинезоне, с меланхоличным видом сунул мне в руки брошюрку, говоря: «Сын мой, спасена ли твоя душа?».

Никогда прежде не видел я человека более унылого на вид. Шести футов и двух или трех дюймов роста, а веса

не больше ста двадцати фунтов, небритый, только о боге и думает. Сперва мне показалось, что он станет кланяться мелочь, потому что похож он был куда больше на голодного бродягу, чем на святого. Но вместо того, чтобы просить у меня десятицентовик, он вручает мне свою религиозную брошюру и при этом интересуется спасением моей души. Брошюра была озаглавлена «Слово к маловеерам», и объект, надо признать, был выбран весьма удачно. Я действительно мало что знал насчет веры. И не очень-то задумывался над спасением своей души. В моих мыслях царила полнейшая неразбериха.

С умным видом попыхивая своей пятицентовой сигарой, я говорю:

— Не думаю, чтобы моя душа была спасена, но попробовать не мешает.

— Брат мой, — говорит уличный проповедник, — я могу спасти тебя с помощью Евангелия Бригхема Янга*.

— Но через пятнадцать минут я уезжаю.

— Не беда, — говорит он. — Однажды я спас заблудшего за четыре минуты.

— Вот это скорость! А что мне нужно делать?

— Ничего, сын мой, — говорит он. — Ты даже не представляешь себе, как, в сущности, мало надо любому из живущих, чтобы быть спасенным. Да, да, именно любому. Я тоже был когда-то беспутным шалопаем, шеголял в модных одеждах, злоупотреблял спиртным, курил дорогие сигары, играл в карты и кости, пропадал на скачках, водился с уличными девками. Ну и прочее в этом духе. Все перевернулось за одну ночь.

— Как это? — говорю.

— Удача мне изменила, и я не мог уснуть. Вот и провел всю ночь в размышлениях и понял, что я создан вовсе не для того, чтобы идти против правды.

— Какой такой правды?

— Святой правды господя, — говорит проповедник. — Никто из людей, в сущности, не враг правде. И все то

**Бригхем Янг — мормонский проповедник середины прошлого века, автор Евангелия для мормонов.*

безумие, которое творится в мире, от того, что люди сами не знают, чего они на самом деле хотят.

— А чего они хотят? — говорю я.

— Правды. Каждый, кто плутует в картах, водится с женщинами, грабит банки, пьянствует или бродяжничают, занят поисками правды. Ты сказал, сын мой, что куда-то едешь? Куда именно?

— В Нью-Йорк.

— Ну, — говорит он, — там тебе правды не сыскать. Я знаю, ведь за последние тридцать лет я был там шесть раз. Можно обойти хоть весь свет и не найти ничего, ибо так не ищут. Все, что требуется, это изменить собственный взгляд на мир.

— Наверное, это не так уж трудно?

— Легче всего на свете.

— Тогда по рукам. Терять-то мне все равно нечего. Ну, а как менять свой взгляд?

— Надо, — говорит проповедник, — бросить попытки разобраться в окружающем и просто поверить.

— Поверить? — говорю. — Во что?

— Да во все, — говорит. — Во все, что угодно. В то, что слева от тебя и справа, на юге и севере, на западе и востоке, наверху и внизу и повсюду кругом, внутри и снаружи, в то, что видимо и невидимо, что хорошо и что плохо, — не в одно, так в другое, или и в то и в другое. Вот он, мой маленький секрет. Чтобы найти его, мне понадобилось пятьдесят лет.

— И это все? — говорю.

— И это все, сын мой.

— О'кэй, я верую.

— Сын мой, — говорит проповедник, — твоя душа спасена. Теперь ты можешь ехать в Нью-Йорк или куда угодно, тебе всюду будет дуть попутный ветер.

— Надеюсь, что так и будет.

— Вот увидишь.

Тем временем к обочине подают большой автобус, и я сажусь в него. К окну с гордой улыбкой подходит долговязый проповедник.

— Ты пятьдесят седьмой по счету, чью душу я спас, — говорит он.

— Прощайте, — говорю я. — И большое спасибо за ваш маленький секрет.

— Рад был помочь ближнему. Только не забывай. Ты должен просто верить.

— Не забуду. Обещаю вам.

— Во все, — говорит он.

Мотор автобуса тарахтит все громче.

— Во все на свете, — говорю я.

Выбросив струю газа, автобус медленно трогается с места.

И что же, я был уверен тогда, что морочу голову старому падре из Солт-Лейк-Сити, а сам не сегодня-завтра вновь обрету свою книжную премудрость и антирелигиозный задор. Но я заблуждался, потому что душа моя и в самом деле была спасена. Меньше, чем через десять минут после отправления нашего автобуса из Солт-Лейк-Сити, я уже верил во все слева от меня и справа, как выразился проповедник, и продолжаю делать это по сей день.





В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ

В 1914 году, когда мне было еще совсем немного лет, к нам на улицу Сан-Бенито забрел один старик по пути в дом для престарелых. Он шел, играя на трубе, и остановился перед нашим домом. Я выбежал со двора, чтобы послушать, но он больше не трубил.

Тогда я сказал:

— Сыграйте что-нибудь еще, так хочется послушать.

А он говорит:

— Молодой человек, не принесешь ли ты стаканчик воды старику, у которого сердце не здесь, а в горах?

— В каких горах? — спросил я.

— Шотландских, — сказал старик. — Так как же насчет водички?

— А что делает ваше сердце в шотландских горах?

— Тоскует, — сказал старик. — Пожалуйста, принеси мне стаканчик холодной воды.

— А где ваша мама? — говорю я.

— Моя мама в Талсе, штат Оклахома, но сердце ее не там.

— А где же? — говорю.

— В шотландских горах, — сказал старик. — Молодой человек, мне ужасно хочется пить.

— Как это так вся ваша семья оставляет сердца в горах? — сказал я.

— Так уж мы созданы, — сказал старик. — Сегодня — здесь, а завтра — прощайте.

— Сегодня — здесь, а завтра — прощайте? — сказал я. — Как это?

— Сейчас мы живы, а вот уже нас нет, — сказал старик.

— Ну ладно, а что ваша мама делает в Талсе, штат Оклахома? — сказал я.

— Тоскует, — сказал старик.

— А где мама вашей мамы? — говорю.

— Она в штате Вермонт, в маленьком городке Уайт-Ривер-Джанкшон, — сказал старик, — но сердце ее не там.

— Бедное старое высохшее сердечко, — сказал я. — Где же оно? Или тоже в горах?

— В самых что ни на есть горах, — сказал старик. — Сынок, я умираю от жажды.

Тут на крыльцо вышел мой отец и взревел, как лев, пробужденный от дурных сновидений.

— Джонни, — проревел он, — отстань наконец от этого несчастного старика. Поддай ему кувшин воды, пока он не свалился и не умер на месте. Что у тебя за манеры, черт возьми!

— Здравсьте, уж нельзя человеку раз в жизни и порасспросить путешественника, — возразил я.

— Поддай скорее воды старому джентльмену, — сказал мой отец. — Не стой, как болван, черт побери. Принеси ему напиток, пока он не свалился и не умер на месте.

— Ты и принеси, — сказал я. — Все равно ничего не делаешь.

— Ничего не делаю? — сказал мой отец. — Черт побери, Джонни, ты прекрасно знаешь, что я сочиняю новую поэму.

— Откуда мне знать? — сказал я. — Стоишь тут на крыльце, засучив рукава, и все. Откуда мне знать, что ты думаешь?

— Ну-ну, тебе следует знать, — сказал мой отец.

— Добрый день, — обратился старик к моему отцу. — Ваш сынок мне рассказывал, какой чудесный прохладный климат в ваших краях.

«Господи Иисусе, — подумал я, — ничего-то я не говорил ему про климат. И откуда он это взял?»



— Добрый день, — сказал мой отец. — Не зайдете ли к нам отдохнуть на минутку? Мы будем польщены, если вы разделите с нами нашу скромную трапезу.

— Сэр, — сказал старик, — я умираю с голоду. Я иду.

— А вы играете «Пей за меня одним лишь взором?» — спросил я старика. — Хотелось бы послушать, это моя любимая песня. Сыграйте мне, а? Чудесная песня.

— Сынок, — сказал старик, — когда ты доживешь до

моих лет, ты поймешь, что песни не самое главное. Самое главное — хлеб.

— Все равно, — сказал я, — очень бы хотелось послушать.

Старик взошел на крыльцо и пожал моему отцу руку.

— Меня зовут Джаспер Мак-Грегор, — сказал он. — Я актер.

— Весьма рад познакомиться с вами, — сказал мой отец. — Джонни, принеси мистеру Мак-Грегору кувшин воды.

Я сбегал к колодцу, набрал в кувшин холодной воды и подал ее старику. Он выпил весь кувшин залпом. Потом оглядел горизонт, посмотрел на небо и вдоль улицы Сан-Бенито, над которой вдали уже садилось солнце.

— Пожалуй, мне отсюда тысяч пять миль до дома, — сказал он. — Как вы думаете, а не съесть ли нам по кусочку хлеба с сыром, чтобы поддержать дух в брэнном теле?

— Джонни, — сказал мой отец, — сбегай к бакалейщику, возьми французский батон и фунт сыру.

— Давай деньги, — говорю я.

— Скажи мистеру Козаку, пусть отпустит в кредит, — говорит отец. — У меня ни гроша, Джонни.

— Да не даст он в кредит, — говорю я. — Ему надоело. Он сердится. Говорит, мы нигде не работаем и по счетам никогда не платим. Мы ему должны сорок центов.

— Ступай к нему, уговори, — сказал мой отец. — На это ты мастак.

— Да он и слушать не хочет, — сказал я. — Знать, говорит, ничего не знаю, отдайте сперва мои сорок центов — и все тут.

— Ступай, ступай, — сказал мой отец, — уговори отпустить французский батон и фунт сыру. Ты это умеешь.

— Ступай, сынок, — подхватил старик. — И скажи мистеру Козаку, чтобы дал тебе батон и фунт сыру.

— Иди, Джонни, — сказал мой отец. — Ты ни разу еще не уходил из этой лавки с пустыми руками. Не пройдет и десяти минут, как ты вернешься домой с провизией, достойной короля.

— Не знаю, — сказал я. — Мистер Козак говорит, что мы его за нос водим. Он хотел бы знать, что у тебя за работа.

— Ладно, ступай к нему и скажи. Мне скрывать нечего. Я пишу стихи. Скажи мистеру Козаку: я пишу стихи днем и ночью.

— Ладно, допустим, — сказал я. — Но вряд ли это на него так уж подействует. Он говорит, что ты никогда и шагу не сделаешь, чтобы подыскать себе работу, как другие безработные. Он говорит, что ты лентяй и бездельник.

— Ступай и скажи, что он сумасшедший, — сказал отец. — Ступай скажи этому человеку, что твой отец — один из величайших неизвестных поэтов нашего времени.

— А ему наплевать, — сказал я. — Ладно, пойду попробую. А дома у нас разве нет ничего?

— Одна только кукуруза, — сказал отец. — Четыре дня подряд жуем кукурузу. Джонни, ты должен непременно раздобыть хлеба и сыру, если хочешь, чтобы я закончил эту большую поэму.

— Ладно, попробую, — сказал я.

— Да не задерживайся долго, — сказал старик. — Мне отсюда пять тысяч миль до дома.

— А я бегом, — говорю.

— Гляди, если найдешь по дороге деньги, — сказал отец, — половина моя, не забудь.

Я бежал всю дорогу до лавки и все время смотрел себе под ноги, но так и не нашел ни гроша.

Вхожу в лавку. Мистер Козак проснулся и поднял на меня глаза.

— Мистер Козак, — говорю я. — Что если бы вы очутились в Китае один как перст и без гроша в кармане? Разве бы вы не надеялись, что кто-нибудь из тамошних христиан даст вам фунт рису?

— Что тебе нужно? — сказал мистер Козак.

— Да я просто так, поболтать, — говорю. — Уж вы бы, наверно, надеялись, что какой-нибудь представитель арийской расы вам непременно поможет, — ведь правда, а, мистер Козак?

— Денег у тебя сколько? — спросил он.

— Не о деньгах речь, мистер Козак, — говорю я. — Разговор идет о человеке в Китае. Нужна ему помощь со стороны белой расы или, по-вашему, как?

— Ничего я этого не знаю и знать не хочу, — говорит мистер Козак.

— Каково бы вам пришлось в Китае, — говорю, — при таких обстоятельствах?

— Не знаю, — говорит. — Что мне там делать, в Китае?

— Допустим, — говорю, — вы попали в Китай и сильно проголодались, и кругом ни души знакомой. Можете вы себе представить, чтобы какой ни на есть христианин отпустил вас от себя хотя бы без фунта рису, а, мистер Козак?

— Да уж, наверно, нет, — сказал мистер Козак. — Но ты-то, Джонни, не в Китае, да и твой папа тоже. Тебе и твоему папаше все равно придется поработать рано или поздно, так почему бы вам не начать вот сейчас? Я не стану больше отпускать вам в кредит, потому что знаю, вы мне не заплатите.

— Мистер Козак, — говорю я, — вы меня не так поняли. Ни о каких продуктах и речи нет. Я вот говорю: язычники эти вокруг вас в Китае, и вы среди них — голодный, умирающий...

— Мы не в Китае, — сказал мистер Козак. — Здесь, в этой стране, на жизнь нужно зарабатывать. Кого ни возьми, все в Америке работают.

— Мистер Козак, — говорю я, — а что, если бы вы нуждались в каком-нибудь там французском батоне да еще фунте сыра, чтобы только сохранить свою жизнь? Неужели вы бы постеснялись попросить об этом христианского миссионера?

— Постеснялся бы, — сказал мистер Козак. — Мне было бы стыдно просить.

— Даже если бы вы знали, что отдадите ему два батона и два фунта сыру? — говорю я. — Даже тогда?

— Даже тогда, — сказал он.

— Ну, это уж нехорошо, мистер Козак, — говорю я. — Вы поддаетесь отчаянию. Подумайте, вас может ожидать



только смерть. Неужели вы умрете вдали от семьи, на чужбине, в Китае, о мистер Козак!

— А мне все равно, — сказал он, — пускай. А вот ты и твой папа должны платить за хлеб и за сыр. Почему твой папаша не ищет работы?

— Мистер Козак, — говорю я. — Ну, а как вы вообще поживаете?

— Прекрасно, Джонни. А ты?
— Лучше нельзя, мистер Козак. Детки как ваши?
— Превосходно, — сказал мистер Козак. — Степан уже начал ходить.

— Да что вы, это замечательно, — говорю. — А как Анжела?

— Анжела начала петь, — сказал мистер Козак. — Ну, а как твоя бабушка?

— Чудесно, — говорю. — Она тоже начала петь. Говорит, что оперной звездой быть гораздо лучше, чем королевой. А Марта как, жена ваша, мистер Козак?

— О, отлично, — говорит мистер Козак.

— Ну до чего я рад это слышать, прямо сказать не могу, мистер Козак. Значит, у вас дома все хорошо, — сказал я. — О, ваш Степан будет когда-нибудь большим человеком.

— Надо надеяться, — сказал мистер Козак. — Уж я-то отдам его в хорошую школу, пусть добьется всего, чего у меня не было. Не хочу, чтобы он сидел за прилавком.

— Я очень, очень верю в Степана, — сказал я.

— Да что тебе нужно, Джонни? — сказал мистер Козак. — Денег сколько принес?

— Мистер Козак, — говорю я. — Я ведь пришел сюда не за покупками. Просто, знаете, люблю иногда насладиться тихой философской беседой. Отпустите мне французский батон и фунт сыру.

— Плата наличными, — сказал мистер Козак.

— Да, а Эстер? — сказал я. — Как поживает ваша красавица дочка Эстер?

— У Эстер-то все в порядке, Джонни, — сказал мистер Козак. — А вот тебе придется платить наличными. Ты с твоим папой — самые ненадежные люди во всей округе.

— Как я рад, — говорю, — что у Эстер все в порядке. А вы знаете, мистер Козак, кто у нас в гостях? Мистер Джаспер Мак-Грегор. Он, между прочим, просил у вас узнать: вы видели его когда-нибудь на сцене? Это великий актер.

— Не слыхал я о таком, — сказал мистер Козак.

— И бутылку пива для мистера Мак-Грегора, — добавил я.

— Нет, пива я тебе дать не могу.

— Да что вы, как так не можете?

— Не могу, — сказал мистер Козак. — Я отпущу вам вчерашний батон и фунт сыру, и все. А чем занимается твой отец, когда работает?

— Мой отец пишет стихи, мистер Козак, больше он ничем не занимается. Он один из величайших поэтов мира.

— А когда он получит деньги? — спросил мистер Козак.

— Никогда, — сказал я. — Нельзя быть великим и брать за это деньги.

— Что-то мне не нравится такое занятие, — сказал мистер Козак. — Почему твой папа не работает, как все люди?

— Он работает усерднее кого бы то ни было, — сказал я. — Вдвое больше обыкновенных людей.

— Ну, Джонни, — сказал мистер Козак, — вы теперь мне должны пятьдесят пять центов. Так и быть, сегодня отпущу вам товар, но это в последний раз.

— Передайте Эстер, что я ее люблю, — сказал я.

— Непременно, — сказал мистер Козак.

Я побежал домой с французским батоном и фунтом сыру.

Отец и мистер Мак-Грегор ждали на улице, чтобы поскорее увидеть, с чем я вернулся. Они пробежали навстречу мне с полквартила и, когда увидели, что еда есть, замахали бабушке, которая ждала на крыльце. Она вошла в дом, чтобы накрыть на стол.

— Я знал, что ты справишься, — сказал мой отец.

— Я тоже, — сказал мистер Мак-Грегор.

— Он говорит, мы должны заплатить пятьдесят пять центов, — сказал я. — Иначе, говорит, больше не стану отпускать вам в кредит.

— Пускай говорит что хочет, — сказал мой отец. — А о чем ты с ним сегодня беседовал?

— Сперва, — говорю, — я толковал про Китай и про этого голодного, что на пороге смерти. А потом стал спрашивать про его семью.

— Ну, как они там? — спросил мой отец.

— Замечательно, — говорю.

Мы все прошли на кухню и съели батон и фунт сыру и выпили каждый по три кварты воды. Когда исчезла последняя крошка хлеба, мистер Мак-Грегор стал оглядывать кухню в поисках еще чего-нибудь съестного.

— Вон та зеленая банка наверху, что в ней, Джонни? — сказал он.

— Мраморные шарики, — говорю я.

— А в этом шкафу? — сказал он. — Нет ли там чего-нибудь съестного?

— Одни сверчки, — говорю.

— А это что за кувшин такой большой там, в углу? Нет ли в нем чего-нибудь подходящего?

— Там у меня сидит уж.

— Чудесно, — сказал мистер Мак-Грегор. — Кусок вареного ужа был бы мне сейчас весьма кстати.

— Этого ужа есть нельзя, — сказала я.

— Но почему, Джонни? — сказал мистер Мак-Грегор. — Почему бы и нет, черт возьми? Я слышал, что жители Борнео едят змей и кузнечиков. Не найдется ли у тебя где-нибудь полдюжины кузнечиков пожирнее, а, Джонни?

— Только четыре штуки, — сказал я.

— Так что же ты, давай их сюда, — сказал мистер Мак-Грегор. — Вот наедемся досыта, и я тебе сыграю на трубе «Пей за меня одним лишь взором».

— Не хочу я их убивать! Всякая тварь хочет жить, — сказал я.

— Я дьявольски голоден, Джонни.

— Я тоже, — говорю, — но я вам не позволю есть мою змею.

Отец сидел за столом, подперев руками голову и о чем-то задумавшись. Бабушка расхаживала по всему дому и распевала арии Пуччини. «Я все по улицам брожу», — вопила она по-итальянски.

— А не сыграете ли вы нам что-нибудь, мистер Мак-Грегор? — сказал отец. — Для мальчика это будет огромное удовольствие.

— Конечно же, мистер Мак-Грегор, — поддержал я.

— Ладно, Джонни.

Он встал и давай трубить, да еще как громко, ну, громче всех трубачей на свете. Людей переполошил на много миль кругом. Восемнадцать соседей собрались перед нашим домом. Когда мистер Мак-Грегор протрубил до конца свое соло, все зааплодировали. Отец вывел его на крыльцо и сказал:

— Дорогие друзья и соседи, позвольте вам представить Джаспера Мак-Грегора, величайшего шекспировского актера наших дней.

Дорогие друзья и соседи ничего не сказали в ответ, и тогда заговорил сам мистер Мак-Грегор.

— Как вчера, — говорит, — помню свое первое выступление в Лондоне, в 1867 году...

И продолжает рассказывать свою историю.

Тут Руф Эпли, плотник, выходит и говорит:

— Нельзя ли нам послушать еще немножко музыки, мистер Мак-Грегор?

А мистер Мак-Грегор в ответ:

— А не найдется ли у вас в доме куриного яйца?

— Ну конечно, найдется, — говорит Руф. — У меня их в доме целая дюжина.

— Не затруднит ли вас пойти и принести одно яичко из этой дюжины? — сказал мистер Мак-Грегор. — А когда вы вернетесь, я сыграю вам песню, которая заставит ваше сердце трепетать от горя и радости.

— Иду, иду, — сказал Руф и пошел к себе за яйцом. У Тома Брауна мистер Мак-Грегор спросил, не найдется ли у него в доме кусочка колбасы, и тот сказал, что найдется. Тогда мистер Мак-Грегор спросил, не затруднит ли его прогуляться за этим кусочком, а когда Том, дескать, вернется, мистер Мак-Грегор сыграет такую песню, от которой изменится вся его жизнь. И Том пошел к себе за колбасой, а мистер Мак-Грегор стал спрашивать подряд каждого из восемнадцати дорогих друзей и соседей, не найдется ли у них дома чего-нибудь вкусенького, и каждый отвечал, что найдется, и все пошли по своим домам, чтобы принести чего-нибудь вкусенького, потому что мистер Мак-Грегор обещал им сыграть нечто усадительное для слуха. А когда все

друзья и соседи вернулись к нашему дому со всевозможной снедью в руках, мистер Мак-Грегор поднес трубу к губам и заиграл «В горах мое сердце, душа моя там», и все соседи заплакали и разошлись по домам, а мистер Мак-Грегор принес все вкусные вещи на кухню, и пошел у нас пир горой и веселье. Яйцо, колбаса, зеленый лук, два сорта сыра, масло, два сорта хлеба, вареная картошка, свежие помидоры, дыня, чай и множество прочих вкусных вещей — все это мы съели, и выпили чаю, и животы у нас раздулись, и мистер Мак-Грегор сказал:

— Сэр, если вы ничего не имеете против, я бы погостил у вас в доме несколько дней.

А отец мой сказал:

— Сэр, мой дом — ваш дом.

И мистер Мак-Грегор оставался у нас семнадцать дней, а на восемнадцатый день к нам пришел человек из дома для престарелых и сказал:

— Я ищу Джаспера Мак-Грегора, актера.

А мой отец говорит:

— Что вам угодно?

— Я из дома для престарелых, — говорит молодой человек. — Мы просим мистера Мак-Грегора вернуться к нам, потому что через две недели мы устраиваем наш ежегодный спектакль и нам нужны актеры.

Мистер Мак-Грегор поднялся с пола, где он дремал, и говорит:

— Что вы сказали, молодой человек?

— Меня зовут Дэвид Купер, — отвечал молодой человек. — Я из дома для престарелых. Вас просят вернуться со мной, потому что нам нужен актер для нашей новой постановки «Причуды стариков в 1914 году».

И вот мистер Мак-Грегор встал и ушел с этим молодым человеком, а на следующий день мой отец сильно проголодался и сказал:

— Джонни, сходи-ка в лавку к мистеру Козаку и достань чего-нибудь поесть. Ты ведь сумеешь это, Джонни. Все равно, принеси что сможешь.

— Мистеру Козаку нужно сперва уплатить пятьдесят пять центов, — сказал я. — Он не даст нам ни крошки без денег.

— Ступай, ступай, Джонни, — сказал мой отец. — Ведь ты всегда сумеешь уломать этого славного словацкого джентльмена.

И я отправился в лавку к мистеру Козаку и стал обсуждать китайский вопрос с того самого места, на котором остановился в прошлый раз. Мне стоило огромных трудов уйти из лавки не с пустыми руками. Я добился пакетика птичьего корма и баночки кленового сока.

Отец и говорит:

— Джонни, как бы такая еда не повредила старой леди.

И в самом деле, наутро мы услышали, что бабушка щебечет совсем как канарейка, а отец еще и говорит:

— Как же это я, черт возьми, напишу великую поэму, сидя на одном птичьем корму!



СОДЕРЖАНИЕ

ИМЯ МОЁ АРАМ

ЛЕТО БЕЛОГО КОНЯ. Перевод Л. Шифферса	5
ПОЕЗДКА В ХАНФОРД. Перевод Л. Шифферса	14
ПЯТИДЕСЯТИАРДОВЫЙ	
ПРОБЕГ. Перевод Л. Шифферса	27
СТАРОМОДНЫЙ РОМАН С ЛЮБОВНЫМИ	
СТИХАМИ И ВСЕМ ПРОЧИМ. Перевод Л. Шифферса	37
ОН, МОЖНО СКАЗАТЬ,	
НАШ БУДУЩИЙ ПОЭТ. Перевод Ю. Кацнельсона	46
ПАРИКМАХЕР, У ДЯДИ КОТОРОГО	
ДРЕССИРОВАННЫЙ ТИГР ОТГРЫЗ	
ГОЛОВУ. Перевод Л. Шифферса	51
ГРАНАТОВАЯ РОЩА. Перевод Л. Шифферса	58
ПЕВЧИЕ ПРЕСВИТЕРИАНСКОЙ	
ЦЕРКВИ. Перевод Л. Шифферса	74
ЛОКОМОТИВ 38, ОДЖИБВЕЙ. Перевод Дж. Карумян	86
ТРОЕ ПЛОВЦОВ И ОБРАЗОВАННЫЙ	
БАКАЛЕЙЩИК. Перевод Дж. Карумян	97
РОДСТВЕННОЕ НАПУТСТВИЕ,	
ИЛИ СОВЕТЫ АМЕРИКАНСКОМУ	
ПУТЕШЕСТВЕННИКУ. Перевод И. Карумян	108
МОЙ КУЗЕН ТИГРАН, ОРАТОР. Перевод И. Карумян	112
БЕДНЫЙ	
ОПАЛЕННЫЙ АРАБ. Перевод Л. Шифферса	122
В ТЕПЛОЙ ТИХОЙ	
ДОЛИНЕ ДОМА. Перевод Н. Гончар	131
СЛОВО К МАЛОВЕРАМ. Перевод Ю. Кацнельсона	140
В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ. Перевод Л. Шифферса	149



Художник и редактор
Багдасаров Ю.А.

Художественный редактор
Шахназаров С.С.

Технический редактор
Голушанян Э.К.

Компьютерная верстка Д. Дербенёв.
Сдано в набор 27.07.2005 г. Подписано в печать 09.08.2005 г.
Формат 84x108 1/16. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Бумага мелованная 80 г/м².
Физ. печ. л. 10,25. Зак. 1760. Тираж 999 экз.
Отпечатано в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»
г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67.







Уильям Сароян

(1908-1981)

Уильям Сароян – выдающийся американский писатель армянского происхождения. Автор двадцати романов, около тысячи рассказов, пьес, сценариев, эссе. Через всю жизнь пронёс он горячую любовь к своему народу. Книга рассказов «Имя моё Арам» даёт ощутить целый пласт жизненных отношений, гротескных ситуаций, тонкий юмор армянского народа.

